

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

# Наша общественная жизнь



Михаил Салтыков-Щедрин  
**Наша общественная жизнь**

«Public Domain»

## **Салтыков-Щедрин М. Е.**

Наша общественная жизнь / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain»,

«...Предполагая помещать в «Современнике» периодические очерки о ходе нашей общественной жизни, мы считаем не лишним предварить читателей, что нас будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу. В этом случае нас руководит то соображение, что петербургским читателям нашим все увеселения и мероприятия Северной Пальмиры известны лучше, нежели нам самим, по тем последствиям, которые они оказывают на их бока; что же касается до читателя провинциального, то ему решительно все равно, чем увеселяется и что извергает из себя Петербург. Читатель провинциальный живет совершенно иною жизнью; она не распадается в глазах его на мелочные подробности, но представляется в одном общем фокусе, доходит до слуха его, как общий гул, в котором он стремится уловить господствующую ноту...»

## Содержание

<I. январь – февраль 1863 года>	5
<II. Март 1863 года>	17
Повесть I	21
Повесть II	23
Повесть III	25
Бедная племянница	27
<III. Апрель 1863 года>	35
<IV. Май 1863 года>	51
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

## Наша общественная жизнь

### <1. январь – февраль 1863 года>

Предполагая помещать в «Современнике» периодические очерки о ходе нашей общественной жизни, мы считаем не лишним предупредить читателей, что нас будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу. В этом случае нас руководит то соображение, что петербургским читателям нашим все увеселения и мероприятия Северной Пальмиры известны лучше, нежели нам самим, по тем последствиям, которые они оказывают на их бока; что же касается до читателя провинциального, то ему решительно все равно, чем увеселяется и что извергает из себя Петербург. Читатель провинциальный живет совершенно иною жизнью; она не распадается в глазах его на мелочные подробности, но представляется в одном общем фокусе, доходит до слуха его, как общий гул, в котором он стремится уловить господствующую ноту. В этой-то именно ноте он и ищет настоящего, действительного жизненного установа. Какое ему дело до того, например, что такого-то числа Петербург был осчастливлен прибытием композитора Верди, который самолично дирижировал оркестром во время и представления новой его оперы «Сила судьбы», или до того, что в Михайловском театре дается драма «Les beaux messieurs de Bois-Doré»,<sup>1</sup> в которой г-жа Стелла-Колас оказывается племянником своего дяди? Я полагаю, что он останется вполне равнодушным, если я доложу ему даже такой факт, что такого-то, например, числа г. М. исчез из своей квартиры неизвестно куда. «Об чем это они пишут! – воскликнет огорченный провинциал, – ну, исчез М., ну и нашла его, конечно, полиция!» И, сказав это, бросит книжку под стол, прокляв раз навсегда летописцев, бесплодно смущающих его веселые сны изображениями Стеллы-Колас в костюме племянника.

Совсем другое будет, если я доложу ему, отчего у нас на Руси развеселое житие завелось. Он это чувствует, ибо сам как сыр в масле катается. Он бросится на мою хронику с жадностью и прочитает ее всю от начала до конца. Он сам участник того неторопливого поступания к идеалу, которым проникнулась современная русская жизнь, и только не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно к идеалу, а не от идеала. Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с какими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой плещи». Мое дело растолковать ему, что и как. Мое дело сказать ему: любезный провинциал! если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково болото», тогда как если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову плещь»! Пойми.

Услышав это, провинциал поймет и станет карабкаться; я же буду взирать на его усилия и проливать слезы умиления.

Это маленькое введение должно достаточно определить характер и направление нашей хроники. Читатели предупреждены, и те из них, которые более интересуются текущими новостями, нежели величественным течением русской жизни, пусть не читают меня, а обратятся к моим собратам по ремеслу.

Да, это «ремесло», – я откровенно должен сознаться в этом, – это ремесло горчайшее всех ремесел! И к удивлению моему, я не чувствую даже, чтобы краска стыда выступала на лице моем в то время, как я искренно признаю себя ремесленником. Да, я обязан быть веселым

---

<sup>1</sup> «Красавцы из Буа-Доре».

даже в то время, когда мне докладывают, что приятель мой М. исчез неизвестно куда из своей квартиры. Я не смею пролить ни единой слезы, я не имею права выбежать на улицу и огласить стогны Петрограда отчаянным криком: нет Агатона! нет моего друга!

Я не могу сделать это, потому что прежде всего должен сделать мою хронику. Я обязан быть веселым даже в то время, когда служитель мой, посланный мной разменять какие-то особенные деньги, возвратясь, докладывает мне, что за эти деньги никто не даст больше восьмидесяти копеек на рубль. Я не смею заскрежетать зубами, не смею броситься на улицу и огласить стогны Петрограда криком: грабят! несмотря на то что ни один, даже самый невинный, помещик не отказывает себе в этом удовольствии. Я не могу это сделать, во-первых, потому, что прежде всего обязан сделать свою хронику, а во-вторых, потому, что я со всех сторон окружен публицистами и экономистами, которые мне докажут, что явление, меня огорчающее, есть естественное последствие естественного хода вещей.

Я должен быть весел не потому, чтобы мне лично было весело, а потому, что явления, проходящие передо мной, веселы.

С другой стороны, по временам я должен принимать торжественный тон и возвышаться до гражданской скорби. Например, я встречаю в обществе очень молоденькую и миленькую девицу, до того молоденькую, что еще вчера родители выводили ее в панталонцах; мы начинаем разговаривать; я, натурально, спрашиваю ее, читала ли она произведение Анны Дараган и как оно ей понравилось; она, напротив того, отвечает мне, что недавно вышло в переводе новое сочинение Шлейдена и что Тургенев, написавши «Отцов и детей», тем самым доказал, что он ретроград. Мне делается весело. «Какой милый пузырь! – думаю я, – и как ведь все это бойко... ах, черт побери! ах, черт тебя побери!» Но увя! веселость моя неуместна! Сообразив хорошенько происходящий передо мной факт с общим величественным течением российской жизни, я чувствую, что обязан относиться к нему с меньшею игривостью и что, говоря о девице, обзывающей Тургенева ретроградом, я должен принять тон торжественный и даже скорбеть... Разумеется, торжествовать по случаю девицы, а скорбеть по случаю Тургенева.

Итак, я должен отречься от самого себя, отречься от своих воспоминаний; одним словом, я целую жизнь должен ходить по орлецам. Неужели же это не ремесло?

Приступим.

По всей вероятности, читатель, который возьмет в руки эту первую книжку возобновленного «Современника», прежде всего спросит себя: очистились ли мы постом и покаянием?

Что пост был – это достоверно; в этом, в особенности, убедилась сама редакция «Современника». Не то чтобы идея поста была совершенно противна «Современнику», но, конечно» было бы желательно, чтобы сроки воздержания были назначаемы несколько менее щедрою рукой. Это тем более желательно, что было бы вполне согласно и с постановлениями святых отцов, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев. Будем надеяться, что это случилось нечаянно и что, с обнародованием новых законов о книгопечатании, будут изысканы иные, более приятные и не менее полезные мероприятия...

Что же касается до вопроса о покаянии, то на него мы постараемся ответить в продолжение последующих десяти месяцев настоящего года. Но, во всяком случае, мы обещаемся быть благонамеренными, потому что все нас к тому призывает: и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году, и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства.

Но прежде всего я обязан определить, что такое благонамеренность. Признаюсь откровенно, обязанность эта застаёт меня несколько врасплох, ибо слово это произошло на свет так недавно, что даже значение его не вполне определилось. Толкуют его больше фигурами и уподоблениями. Так, например, если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте», – я говорю себе: это человек благона-

меренный. Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других, – я говорю себе: это человек благонамеренный. Почему я так говорю, – я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякий, кто слышит меня говорящим таким образом, тоже чувствует, что я говорю правду. Совсем другое дело, если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос»; тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел, – я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александрыча и очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.

Но отворотим наши взоры от этого печального зрелища и будем продолжать фигуры и уподобления. Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. Хорошее это поведение состоит в следующем. Утром благонамеренный человек встает и читает «Северную почту» (он может не ходить к обедне, и бог ему простит это за его благонамеренность); фельетонист Заочный сорвет с его уст улыбку, Илья Арсеньев заставит вздохнуть о черногорцах, И. А. Гончаров вырвет из груди стон, а секретарь редакции Лебедкин найдет его равнодушным.

Испытав таким образом все ощущения, которым может подвергаться натура человеческая, и узнав, сверх того, в чем должна заключаться сегодняшняя благонамеренность, благонамеренный отправляется побеседовать с г. Старчевским, который сообщает ему, что подписчики «Сына отечества» получили привилегию уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, как подписчики прочих газет, но по одному рублю в год. Под влиянием этой беседы благонамеренный заходит к Доминику, где съедает три пирожка, а буфетчику сказывает, что съел один. Затем до обеда он гуляет по Невскому, пожирая глазами флигель-адъютантов, потом обедает в долг у Дюссо, а вечером отправляется в Михайловский театр и день оканчивает блистательным образом на бале у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга.

Если вы спросите меня, каким образом я во всех описанных выше действиях нахожу благонамеренность, я могу истолковать вам это. Сколько я мог понять из объяснений людей сведущих, слово «благонамеренность», в современном его значении, имеет смысл весьма ограниченный и притом совершенно специальный. Человеку, который решается стать в ряды благонамеренных, стоит только сказать себе: «Друг мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, ты можешь читать «Сын отечества» и «Петербургскую клубничку»,<sup>2</sup> но в вознаграждение за это ты обязан иметь хороший образ мыслей». Отсюда другая черта благонамеренности – хороший образ мыслей. Что такое этот «хороший образ мыслей» – этого я объяснить не умею, потому что это выражение скорее чувствуется, нежели понимается.

Тем не менее если судьба заставит вас потолкаться некоторое время между людьми благонамеренными и если вы возьмете на себя труд вдуматься в их речи и действия, вы поймете и это. Вы поймете, например, что отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла. Любите отечество и читайте романы Поль де Кока – вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек. И благо ему. Если он утаил о двух излишне съеденных пирожках, то это простится ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только может повлечь для него за собой неприятность: это если факт утаения вызовет за собой протест; но и тогда Доминик ему только заметит, что на будущее время он должен быть осмотрительнее, то есть

---

<sup>2</sup> Да; есть в Петербурге журнальчик и с этим названием. Это истинные геркулесовы столпы петербургской благонамеренности. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

скрадывать пироги ловчее и глотать их быстрее. И более ничего. Потому, главное все-таки в том заключается, чтобы любить отечество и не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не мыслите. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица г-жи Напталъ-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Nos intimes»,<sup>3</sup> следите за непрерывным развитием бюста г-жи Мила, но, бога ради, не мыслите. Ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Наше время», но, бога ради, не мыслите. Если же вам непременно нужно мыслить, то беседуйте с «Сыном отечества», ибо мысли, порождаемые этими беседами, не суть мысли, но телесные упражнения...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы догадываемся наконец, что такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли по улице, – вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. Тут не может быть речи об убеждениях, а тем менее о недовольстве кем и чем бы то ни было: в этих ходячих могилах все покончено, все затихло. Самый добродушный из них на ваши приставанья ответит: «Mon cher! qui est-ce qui en parle!»,<sup>4</sup> но менее добродушный фыркнет и огрызнется, как пес, к которому неосторожно подойдут в то время, когда он ест. Следовательно, благонамеренность не исключает и некоторого остервенения, которое и составляет третью характеристическую черту ее.

Какая причина этого остервенения, где источник этой благонамеренной плотоядности? Устали ли мы от политических потрясений? Испытали ли мы на себе бесплодность и вредоносную силу утопий? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та сирена, которая нас, гибнущих плователей, соблазнила сладкогласным своим пением?

Странное дело? мы не можем указать на какие-либо политические потрясения (слава богу!), мы не можем сослаться ни на какие утопии (ух, слава богу!), и в то же время не можем скрыть, что сирена все-таки существует. Многие даже видели ее и уверяют, что она ходит в вицмундире.

Увы! пение сирены отразилось даже на литературе нашей. Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и усыкавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» – стонет на все лады один; «нигилисты!» – подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем.

Вновь спрашиваю я: что за причина такого беспримерного наплыва благонамеренности в нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертак, тот самый четвертак, об отношениях которого к русской литературе и ее деятелям так остроумно выразился московский публицист М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади – стащат! «Как! – воскликнет читатель, – эта самая русская литература, которая так много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая так строго преследовала Булгарина за его легкие нравы, – вдруг соблазнилась на четвертак!» Да-с, так именно рассказывает М. Н. Катков, и, к сожалению, некоторые признаки заставляют сознаться, что он не неправ. Во-первых, г. Катков не решился бы взвести столь важное обвинение без достаточных оснований; если он заявляет об этом, стало быть, действительно у него или у присных его кто-нибудь из литераторов стянул четвертак. Ведь заявлял же он некогда, что некто стянул у него сочинение Гнейста – и что ж? оказа-

---

<sup>3</sup> «Наши близкие».

<sup>4</sup> Дорогой мой, кто же об этом говорит!

лось, что стянул, до такой степени стянул, что даже следующая книжка «Русского вестника» не могла быть своевременно выдана именно по этому случаю. Во-вторых, как-то поразительно видеть, как та же самая литература, которая столько времени уподоблялась жалкой салопнице, трепещущей в холодном мантио, вдруг является торжествующею и самоуверенною; как та же литература, которая так долго надсаживала себе грудь, доказывая, что зерно всего лучшего таится исключительно в молодом поколении, вдруг поворачивает назад и начинает надсаживать себе грудь, выкрикивая на все лады: «мальчишки! нигилисты!..» Переменилось ли что-нибудь? Перестало ли молодое быть молодым?

«Нет, тут что-нибудь да не так! – рассуждаю я ввиду всех этих внезапных перемен, – или, лучше сказать, это так... это он... это четвертак!»

Но положим, что М. Н. Катков ошибся; положим, что не буквально же четвертак соблазнил нашу литературу, что эта мелкая монета служит лишь фигурою уподобления – тем не менее это обидно. Это обидно, потому что слово «четвертак» представляет здесь идею дешевизны; это обидно, потому что четвертачизм, претерпевавший доселе в русской литературе постыднейшее крушение, несмотря на гигантские, в своем роде, усилия Ф. В. Булгарина, начинает приживаться в ней именно в такую минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. Тут еще не было бы дива, если б во времена Булгарина четвертак обладал обаятельною силой: тогда и провиант был дешевый, да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать за четвертак происхождение Руси от норманнов было и не предосудительно и не обременительно. Но и за всем тем наша литература выказывала ироизм неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси даром. Напротив того, теперь, когда, с одной стороны, жизненные припасы поднялись в цене необычайно, когда, с другой стороны, политический горизонт с каждым днем расширяется, когда с каждым днем обнажаются, так сказать, новые и новые срамоты, литература, вместо того чтобы быть на страже, вместо того чтобы грудью стоять именно за такую, а не за иную срамоту, оказывает малодушество беспримерное и выделяет из себя публицистов, которые за четвертак поют хвалебные гимны всем срамотам без различия, а за гривенник призывают кару небес на мальчишек и нигилистов!

Что сей сон значит?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что перед глазами нашими не блистал заманчиво четвертак? Может быть.

Или мы были так слабы и ничтожны в то время, что нам и четвертака никто не считал за нужное посулить? Может быть.

Или наша изобретательная способность до такой степени притупилась об варягов, что, когда настало наконец время для вопросов более серьезных и жизненных, мы не отыскиали в себе никаких ответов на них, и потому нашли для себя более покойным и выгодным дуть в нашу маленькую дудочку на заданную тему? Может быть.

Или же, наконец, тут имеется с нашей стороны тонкий расчет? Быть может, мы думаем, что со временем наши фонды поднимутся и что мы незаметным образом с четвертака возвысимся до полтинника? Может быть.

Я не решаю этих вопросов, а только излагаю их. Я считаю себя летописцем; я даже не группирую фактов и не выжимаю из них нравоучения, но просто утверждаю, что в 1862 году в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность. С одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки подвигается; с другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этим настроением, начала сочувственно и весело строить целые политические системы на мотив: «Чего же тебе еще нужно?»

Я уверен, что известие это в особенности порадует провинциального читателя. В самом деле, видя, какой переполох царствовал в наших журналах до 1862 года, какими словесными подзатыльниками угощали в них друг друга россияне, бедный, удаленный от света провинциал

мог и невесть что подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конец пришел, что хороших людей моль поела и что на месте их неистовствуют всё мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утешаю я его; все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие и соорудили себе в Новгороде монумент... шутка! Как же тут не созреть, какие пойти в семена при одной мысли о монументе!

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает, собственно, ничего. В романе г. Тургенева, как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети, – это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды.

Отцы – народ чувствительный и веруют во всё. Они веруют и в красоту, и в истину, и в справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «*Résignation*»<sup>5</sup> они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четвертакам. Да, люди, о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака, – это всё отцы. Вообще, это народ легко очаровываемый. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны – *Laure am clavier*,<sup>6</sup> с другой – тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей – вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: «цыц!» – и тогда кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

В противоположность отцам, дети представляют собой собрание неверующих.

– Вы не верите ни во что... даже? – вопрошает Базарова один из старичков Кирсановых.

– Даже, – отвечает Базаров, вовсе не заботясь о том, что он делает этот ответ в доме Кирсановых и что, по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь приятные и угодные вещи.

Не верит в «даже», а верит в лягушек! Соблазняется красивыми плечами женщины, и при этом не содрогается мыслью, что красивые плечи составляют лишь тленную оболочку нетленной души! Кроме того: а) на красоту вообще взирает с той же точки зрения, с какой г. Семейский взирает на русскую историю, то есть с точки зрения клубнички; б) не тоскует по истине, ибо не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на виолончели не играет и романсов не поет; и г) обаятельную силу четвертака отвергает положительно... Спрашиваю я вас, как назвать совокупность всех этих зловредных качеств? как назвать людей, совокупивших в себе эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы волтерьянцами; но И. С. Тургенев не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

Как бы то ни было, но «благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова «фармазон» и «волтерьянец». Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия,

---

<sup>5</sup> «Покорность судьбе».

<sup>6</sup> Лаура за клавесином.

были явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты; были люди, которых физиономии им не нравились, чьих речи производили в них нервное раздражение, но они не могли дать себе отчета, почему именно эти люди, эти речи производят на них именно такое действие; теперь все сделалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Таким образом, нигилист, не обозначая, собственно, ничего, прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному, и если б Иван Никифорыч Довгочхун знал, что существует на свете такое слово, то он, наверное, назвал бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнем с писаною торбою, а нигилистом. Человек, который ходит по улице без перчаток, – нигилист, и человек, который заявит сомнение насчет либерализма Василия Александрыча Кокорева, – тоже нигилист. «Он нигилист! он не верит ни во что святое!» – вопят благонамеренные, и само собой разумеется, что Василию Александрычу это нравится. Одним словом, нигилист есть человек, непрерывно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек!

Это переносит меня к далеким дням моей молодости. Знал я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патриархально и состоявшее из большого числа членов, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и благоденствовало: оно имело тот форменный взгляд на нравственность и человеческие обязанности, который составляет счастье людей, желающих прожить свой век без тревог и волнений. Конечно, так и прожили бы эти добрые люди, если бы, к несчастью, не замешался тут Сенечка.

Сенечка был просто добрый малый, живший большею частью в отдалении от родных, и потому несколько отвыкший от этого бесшумного, обрядного жизненного строя, который царствовал в его семействе. Нельзя сказать, чтоб его не любили домашние; напротив того, на него возлагались даже какие-то честолюбивые родовые надежды, так как он один из всего семейства состоял на государственной службе и обещал когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тем прославить род Горбачевских. Тем не менее обольщение было непродолжительно; за Сенечкой во время побывок его в родном доме стали замечаться какие-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобление, но полное равнодушие к родным интересам.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сенечка разливает яд и действует посредством его на подростков.

Выходит из института невинная девица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родных. Она уважает дедушку, боготворит бабушку, целует ручки у папеньки и маменьки, беседует и спорит по вечерам с приходским батюшкой насчет того, действительно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, или это только так, притча? Одним словом, родные не налюбуются милым ребенком и все в один голос кричат: что за милое, что за невинное создание! Но вот приезжает в побывку Сенечка... Он привозит с собой несколько французских романов – наша институтка слышит это верхним чутьем; она украдкой от родных бегаёт в Сенечкину комнату и читает... Сенечка рассказывает, на каких он балах в Петербурге бывает (он бывает исключительно у Марцинкевича), какая в Петербурге опера и в какие неслыханные платья облачается г-жа Напгаль-Арно, изображая маркиз. Институтка слушает это сначала одним ухом, потом обоими; потом она задумывается, потом ей плохо спится ночь... В одно прекрасное утро она начинает плакать и не хочет диспутировать с батюшкой; она не называет бабушку «божественной» и после обеда забывает поцеловать руку у папеньки. Мало того: она вдруг начинает резвиться и бегать по комнате; она садится за фортопьяно и не то чтобы играет, но как-то беспорядочно стучит по клавишам; наконец, она открыто называет родных тиранами, желающими заесть ее молодые годы.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует!

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто Катеньке повеселиться хочется! просто-напросто молодая кровь в ней играет!

– Нет, это твой яд! – твердят хором родственники и спешат удалить Сенечку.

Приезжают на каникулы дети – гимназисты; бабушка осматривает их и говорит: молодцы! папенька спрашивает, какие у них отметки, и получает ответ, что всё пять да четыре. Петров пост; дети кушают постное вместе с Катенькою и прочими членами семейства; они делают это даже с некоторою восторженностью, думая посредством гороха спасти свои грешные души. И вдруг приезжает Сенечка.

– Дяденька! у нас постное! – спешат сообщить ему гимназисты.

– Стану я ваши пробки есть! – огрызается Сенечка и объявляет, что будет есть скоромное.

Декорация меняется. На другой день, за обедом, все едят постное, одному Сенечке подают скоромное. Гимназисты едят плохо.

– А что, друзья, вкусны пробки? – подшучивает Сенечка, видя, как они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистов слегка бледнеет; бабушка строго посматривает на Сенечку. Но дело уж сделано; гимназисты плачут; Катенька, которая тоже надеялась спасти свою душу, вторит им; жаренный в постном масле картофель так и уносят обратно нетронутый.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует.

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто детям есть хочется, потому что они растут.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь удалить Сенечку.

Все, даже рабы и рабыни, находятся под влиянием Сенечкина яда. Кормили их прежде, например, кислым молоком, и они не жаловались, и вдруг дернула же нелегкая Сенечку спросить у Ионки-подлеца:

– А что, брат, с кислого-то молока, чай, живот подвело?

И вот на другой день история: кислое молоко в помойную яму вылили; и хотя все-таки им ничего другого не дали, однако огорчились.

– Это все Сенечкин яд! – шепчут родные.

– Да помилуйте, маменька! чем же я виноват, что у вас люди голодны? – оправдывается Сенечка.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь освободиться от Сенечки.

Подобно этому Сенечке, нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка – благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь – благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах – благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература – благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до той степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них поснимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!

Вот какую страшную услугу оказал г. Тургенев. Хорошо еще, что он заблагорассудил уморить Базарова почти насильственной смертью, но что было бы, если б Базаров выдержал, если б пришлось писать вторую часть романа и показать Базарова в соприкосновении не с госпожою Одинцовою и братьями Кирсановыми, но с жизнью действительною, если б, одним словом, пришлось изобразить Базарова деятелем общественным и политическим? Ужели же и впрямь оказалось бы, что выводы, делаемые людьми благонамеренными, суть выводы, естественно вытекающие из самого романа?

Но оставим Базарова. Я совершенно согласен, что люди, поджигавшие Петербург, суть нигилисты, но в таком случае какой же резон слово «нигилист» смешивать с словом «мальчишки»? Допустим, что слово «нигилист» выражает собою совокупность всех возможных позорных понятий, начиная от ненюшения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либе-

рализма, – чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. Оно пушено в ход московскими публицистами, которые в этом случае оказали благонамеренным услугу столь же незабвенную, как и И. С. Тургенев.<sup>7</sup> И действительно, сила заключается не в слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты». Нигилистом может быть человек всякого возраста; так, например, Аркаша Кирсанов покидает ремесло нигилиста тотчас же, как только собственным умом доходит до убеждения, что никакие нигилизмы на свете не стоят ничего перед теми положительными утешами, которые может доставить ему соединение с милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, по этой теории, ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову, хотя, быть может, у него, от преклонности, ни одного волоса на голове нет, и благонамеренным – г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек. Напротив того, слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества. Под этим словом подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста! и затем, всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физические условия мальчишества, в чем же должны заключаться условия нравственные? Очевидно, в том же, в чем и нравственные условия нигилистов, то есть в отсутствии всяких нравственных условий. Мальчишки не верят в науку, ибо не читают статей г. Молинали; мальчишки не верят в бессмертие души, ибо не читают статей г. Юркевича (во все это верят помещики, преимущественно подписывающиеся на «Русский вестник»); мальчишки – это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие всё, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; мальчишки – это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с «Временем»! «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем свищу!») и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма»...<sup>8</sup>

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать – потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения – потому что он мальчишка; его мысль, его действия, его телодвижения, все его существо, одним словом, необходимо должны заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл, – потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» – спрашивает мальчишка у благонамеренного, и благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «Га! это он неспросту мне папиросу предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папиросу выкурить не в состоянии!» Каждое слово мальчишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцевать карбонарский канкан.

---

<sup>7</sup> Заметим здесь кстати, что судьба вновь изобретаемых выражений не всегда одинакова. Например, г. Чичерин, по поводу какой-то трогательной истории, случившейся с ним самим, изобрел в 1861 году слово: «казачество в науке». Казалось бы, и метко, и замысловато, и образно – а в ход не пошло! Между тем М. Н. Катков только и изобрел что «мальчишек», а какой произвел фурор! Счастье! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

<sup>8</sup> Справедливость требует, однако ж, сказать, что «Время» не прилагает этих эпитетов собственно к мальчишкам; по своему обыкновению, оно беседует в пустыне и о пустыне. Но этот «маленький кнутик рутинного либерализма» – прелесть! Как должно было разыграться сердце Н. Ф. Павлова при чтении этих строк! Что должен был он сказать! Очевидно, он должен был сказать: все это я уж целых два года думаю, а М. М. Достоевский только возвел в перл создания! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает или иным способом погибает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою... ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего, если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» – и всё тут!

Мальчишество – это преступление, за которое уличенный в нем лишается прав состояния и, что всего важнее, лишается права жаловаться, права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка», – скажет он и самодовольно пройдет себе мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой стороны, и не родиться-то им?

Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «Ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я и опять буду мальчишкой... что ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие – потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.

К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обращаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели зашли в трущобу благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давно прошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновение, хотя случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей нынешней точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманию старчества.

Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек – очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты, по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же, собственно, дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни падает; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознаётся, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, вокруг нас все-таки происходит нечто новое; миазмы мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее и светлее. Откуда этот успех? откуда эта победа?

Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувствуются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм большею частью зависит от нас и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их, чтобы в нас заключалось какое-нибудь деятельное начало. Нет, мы только уступаем, мы только терпим; часто мы даже уступаем нехотя, с затаенною мыслью, но все-таки уступаем. Ибо таково действие свежей, не подкупленной гнилостными преданиями жизненной струи, что она покоряет себе человека, несмотря на его протесты, она всасывается в него незаметно для него самого.

Итак, если мы видим, что жизнь мало-помалу идет вперед – мы обязаны этим мальчишеству; если мы самих себя сознаем лучше и чище – мы обязаны этим мальчишеству.

Мы клянем мальчишество, мы презираем его, и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, волтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?

Можно. Для этого надобно только, чтобы видимая трудность подвига не приводила мальчишества в отчаяние.

Таким образом, современное настроение русского общества делается ясным для читателя. Он знает, что, с одной стороны, существует благонамеренность, но, с другой стороны, есть и мальчишество; что если не безвыгодно рисковать своими капиталами насчет благонамеренности, то в то же время не бесполезно принимать в соображение и мальчишество.

В этой нравственной эквилибристике приятно и незаметно проходит вся жизнь современного человека; в этом балансированье, в этом форсированном перескакиванье с одного камня на другой (ибо посреди их стоит лужа) истрачиваются все лучшие его силы.

Но я не могу, я не должен заключить свою хронику таким сухим и бесплодным словом. Нравственная разорванность, нравственное недоумение, легко объяснимые при известных условиях, как в отдельном человеке, так и в целом обществе, не могут, однако ж, служить ни жизненною целью, ни жизненным содержанием ни для отдельного человека, ни для целого общества. Общество может, за недостатком установившихся разумных начал, доволь-

ствовать ходячею ложью, жить обрывками прошлого и хаотическими зародышами будущего, но подобное положение не заключает в себе никаких задатков прочности и продолжительности.

Посмотрим, отчего же происходит это нравственное распадение в современном человеке, отчего он обязывается балансировать, отчего он никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила, что тут он дома?

Об этом я побеседую с читателем в следующий раз...

## <II. Март 1863 года>

Я заключил первую мою хронику обещанием объяснить читателям, отчего в современном человеке происходит некоторое нравственное распадение, отчего он обязывается балансировать, отчего никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила.

Однако я покуда нахожу еще невозможным выполнить это обещание, и вот почему. Для того чтобы выполнить его как следует, я должен доказать, что силы действительно нет нигде, и, разумеется, в этом отсутствии силы преимущественно обвинить мальчишество, как такую корпорацию, которая одна и может заключать в себе залогов действительной силы. Быть может, я вынужден буду сделать мальчишеству строгий выговор за то, что оно не умеет или не хочет воспользоваться плодами своего положения; быть может, я должен буду сделать кое-какие наставления...

Все это, разумеется, я сделать могу: и доказать, и выговор сделать, и наставление прочитать, но покуда я еще чувствую, что перо выпадает у меня из рук... Почему я это чувствую? не потому ли, быть может, что мальчишество в настоящую минуту подвергается иным выговорам и выслушивает иные наставления?

И опять-таки, пускай не заключит читатель из моих слов, будто я хочу сказать: бедные мальчишки! и без того вы обижены! зачем же я-то буду еще усугублять вашу горечь! Нет, я совсем не то хотел сказать. Я знаю, что если мальчишки подвергаются выговорам и наставлениям, то, значит, это так и следует; что они сами были обязаны все это предвидеть и предусмотреть и что, стало быть, тут ни соболезнавать, ни радоваться нечему. Но вместе с тем я не могу же не спросить себя: если мальчишки уже получают выговоры, то зачем же мне соваться еще со своими выговорами! имеют ли мои выговоры что-нибудь общее с теми, которые они получают? а если не имеют, как я и подозреваю, то с какой же стати я стану производить губительное двоегласие в впечатлительных юношеских умах?

Нет, лучше я воздержусь, и это тем легче для меня сделать, что никто меня и не пустит.

Притом же и говорить-то о прошлом в ту минуту, когда оно, так сказать, ликвидируется, не значит ли только заниматься праздными словами? Ведь тут расчет ясен: что есть в печи, все на стол мечи! и еще: каждому по делам его – ну, и дело с концом. Тут не поможешь ни оханьями, ни стонами, ни советами, вроде: кабы ты чуточку-чуточку влево забрал – ну, и уцелела бы твоя голова! Нет, тут этим не поможешь! Другое дело, поговорить о прошлом в видах назидания будущего – это иногда полезно бывает. Но ведь это тогда только полезно и возможно, когда имеется в виду совершенная ясность духа, когда в сердце царит безмятежие, а какая же может быть ясность, какое безмятежие в минуты ликвидации!

Следовательно, этот разговор я отложу до более благоприятной минуты, тем более что мудрецом быть во всякое время приятно и не подозрительно. Теперь же обращусь опять к той вечно милой среде, которая выговорам не подвергается и наставлений не получает.

Поговорю на сей раз о благородстве чувств. Это тем для меня сподручнее, что может отчасти послужить предисловием и к предстоящему в будущем выговору.

### **КАРТОННЫЕ КУШАНЯ, КАРТОННЫЕ КОПЬЯ, КАРТОННЫЕ РЕЧИ**

Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареною жизни; что над нами стелется холстинное небо, освещаемое промасленным бумажным кругом, сквозь который тускло светится мерцание стеаринового огарка; что вокруг нас простираются холстинные леса, расстилаются холстинные луга, ходуном ходят холстинные волны; что хотя

на нас падает снег и дождь, но снег этот бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями, пьем примерное вино, воюем картонными копьями и произносим картонные речи...

И чем более я углубляюсь в эту мысль, тем больше убеждаюсь, что она совсем не заключает в себе парадокса. Не знаю, оттого ли, что жизнь положительно сошла с прежней наезженной колеи, оттого ли, что, сошедши с этой колеи, она не успела еще наездить себе колеи новой, но все мы находимся в том странном положении, в какое добровольно поставила себя редакция журнала «Время»; все мы сидим между двух стульев и то и дело шлепаемся на пол. Все мы раздражаемся только физически, радуемся и негодуем только окончечностями языка, все ежесекундно прообразуем любовь пьяного человека, который и любит-то словно не за себя, а за кого-то постороннего.

Отчего самый непривлекательный возраст человеческой жизни есть тот переходный возраст, который идет тотчас вслед за отрочеством? не оттого ли, что в нем утрачены все правдивые тоны жизни, что в нем многое потеряно и ничего не приобретено? Не оттого ли, что здесь истинною жизни временно делается ее ложь? Желания не уяснились, мысль не просветлела, а отроческая наивность и впечатлительность исчезла уже безвозвратно. Происходит нечто смешное и вместе с тем горькое; является хладная, картонная восторженность, являются деланные чувства, деланные мысли, сквозь которые слышатся чьи-то беззвучные голоса, чье-то непонятое, неувоенное, не обратившееся в плоть и кровь слово... Понятно, что при первом дуновении невзгоды вся эта картонная обстановка падает сама собою, падает без шума, среди самого обидного равнодушия; понятно, что при первом дожде, сколько-нибудь не шнурочном, все эти кой-как набросанные краски мгновенно смываются, все эти кой-как склеенные частицы картонного здания разлетаются врозь.

Давно ли казалось нам, что жизнь наша полным ключом кипит, как уже мы убедились, что этот ключ не взаправду ключ, а ключ театральный; давно ли казалось нам, что вокруг нас произносятся новые вопросы, восстает целая новая обстановка, как мы уже убедились, что это вопросы картонные, обстановка картонная. Давно ли мы бежали, стремились, шумели, рукоплескали, а теперь, плодом всей этой суеты, перед нами стоит, в обидной наготе, вопрос: куда стремились, чему рукоплескали? Да, именно только этот вопрос и остался, да и то остался только для тех, кто еще не совсем забыл о стремлениях и рукоплесканиях, а для большинства и этого вопроса не существует. Большинство уже позабыло о прежней картонной жизни; оно радо, что вступило... куда вступило? не в новую ли картонную жизнь?

Тихо, глухо, мертво, как в могиле. Картонная жизнь, картонное отрезвление; картонные могилы! Но нет... могилы не картонные, ибо в этих могилах живет бесплодно пролитая кровь...

Это напоминает мне одного почтенного, но нищего духом старичка-москвича из породы «метеоров».

– Были вы у обедни? – спрашивают его.

– Был, сударь, в Кремле был: крестный ход ведь нынче...

– Ну, что ж?

– Да что, сударь! Звонят, благовестят, трезвонят... господи боже мой!

Мы тоже по временам звоним, благовестим, трезвоним, а в результате... господи боже мой!

Но хуже всего то, что картонная жизнь произвела картонную литературу. Жизнь забывается по мере того, как измалывается и принимает новые формы, но картонная литература не забывается; она остается вечным монументом известного строя жизни.

Отличительные признаки современной картонной литературы – совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое благородными чувствами. Над всем этим царит беспримерная бесталантность и неслыханнейшая бедность мирозерцания.

Если действительная жизнь ускользает от нашего понимания, если идеалы нам не даются, если мы до того поражены повальной неспособностью, что не знаем даже, за что нам уцепиться, к чему устремить нашу жажду подвигов, то очень ясно, что для нас может быть доступна только одна сфера деятельности – это та сфера, в которой все пути уже давно изборождены рутиной, та сфера, в которой все званые, а нет избранных, та сфера, наконец, которой неприхотливое и скудное содержание, не изменяясь в своей сущности, только меняет цвета, только сгущается или разжижается, смотря по тону, задаваемому извне.

На сей раз это пристанище бессильных, эту бесплодную смоковницу, под которою свободно укрываются нищие духом, представляют так называемые благородные чувства, так называемые хорошие мысли, так называемые гражданские стремления.

Что благородство чувств есть один из самых сильнодействующих ядов нашей литературы – это я совсем не шутя говорю. Дело в том, что благородные чувства, хорошие мысли и гражданские стремления грозят затопить русскую литературу, по крайней мере в такой же степени, в какой, с другой стороны, затопляет ее сильнодействующая благонамеренность. Если эта последняя является отвратительною, вследствие своей цинически-легкой удовлетворимости, то благородные чувства и мысли поражают своею бестактностью и сухостью, режут глаза своим бессилием и ограниченностью.

Как благонамеренность, так и благородные чувства равно противны; это маски, за которыми скрывается отсутствие содержания, это искусственно напускаемый туман, который мешает видеть жизнь действительную, жизнь не картонную. Когда вы занимаетесь делом положительным, имеющим корни в действительной жизни, придет ли вам в голову мысль о необходимости подпустить туда благородства чувств? Нет, не придет, потому что дело есть дело, и ни благородным, ни неблагородным оно не может быть... Возможно ли написать благородную арифметику, похвальную химию и не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию? нет, невозможно, потому что все это: и арифметика, и химия, и физиология – все это дело. Так, стало быть, литература...

Ну да, стало быть, литература есть безделье, коль скоро в нее, как в некоторый непокрытый сосуд, можно легко помещать все плохие чувства, все праздные поползновения, все непригодные для дела мысли. Действительно, благородство чувств там преимущественно и прижилось, ибо хотя и были попытки сочинить благородную арифметику, но скоро было найдено, что там благородство непригодно и что всего ближе оно подходит к беллетристике.

Явились целые фаланги повествователей, романистов, фельетонистов и драматургов, которые решили раз навсегда, что талант – вздор, что знание жизни – нелепость, наблюдательность – чаромутие и что главное заключается в благородстве чувств. Решивши таким образом, все они взапуски принялись доказывать:

Что образование не в пример лучше необразования.

Что порок и в шелковом платье все-таки порок, а добродетель и в рубище все-таки добродетель.

Что тщеславие и в золотых палатах все-таки тщеславие, а покорность судьбе и в хижине – все-таки покорность судьбе.

Что девица начитанная не в пример приятнее девицы неначитанной.

Что девица, занимающаяся преподаванием наук в воскресных школах, должна быть избирательна в подруги жизни предпочтительно перед девицею, посещающею танцклассы Ефремова.

Что человек, пожертвовавший один рубль в пользу процветания общества трезвости, несравненно добродетельнее того, который такой же рубль пропил в кабаке.

Что, едучи на рысаке, надлежит помышлять о том, что большинство рода человеческого обязывается ездить на извозчиках... да еще если бы на извозчиках!

Что, поедая бифштексы, не следует забывать, что есть несчастные, которые едят хлеб с квасом.

Что скверные мысли – скверны.

Что неблагородные чувства – неблагородны.

Что писать плохие стихи с благородными чувствами не в пример благороднее, нежели осмеивать плохие стихи с благородными чувствами.

Что жизнь есть обман.

Что человек, сожалеющий о падении откупов, подобен пиявице, сожалеющей о невозможности сосать человеческую кровь.

Что увлекаться любовными делами, когда настает надобность позаботиться о преуспевании любезного отечества, неприлично и непозволительно.

Что жизнь есть река, человек – пловец, лодка – величественное здание общества, весло – прогресс, а волны – тщетная реакция безумных ретроградов.

Ко всему этому на живую нитку привязываются какие-то безличные Машеньки, крохотные аскеты Вертяевы, полупомешанные графини Клавдии Алексеевны – и пошла потеха!

Как видите, кодекс жизни не очень мудреный и не очень замысловатый. И с помощью этого-то незамысловатого кодекса фаланга литераторов, обуреваемых благородными чувствами, вознамерилась постепенно и неустанно отравлять жизнь человеческую! И при этом не потрудились даже припомнить, что, с помощью именно точно такого кодекса, уже отравлял человеческую жизнь Ф. В. Булгарин!

Плодом этого намерения появляются повести неслыханные, драмы, повергающие в оштолбенение. Напишу здесь несколько примерных повестей.

## Повесть I

### Маша – дырявое рубище

Ваня – белые перчатки полюбил Машу – дырявое рубище. Они встретились на крутом берегу реки; Ваня бил бекасов, Маша собирала грибы; солнце; с реки веет ветерок; издали доносится рожок пастуха...

– Что это у тебя – грибы? – спрашивает Ваня – белые перчатки.

– А тебе зачем? – отвечает Маша – дырявое рубище и закрывает лицо рукавом.

Однако они слюбились. Звезды; с реки веет ветер; наверху поют небожители.

Вторая глава застаёт нас на берегу реки. Ваня – белые перчатки бьет бекасов, Маша – дырявое рубище ищет грибов, и в то же время чувствует, что она уже носит под сердцем залог.

– Ваня! – говорит Маша, – ведь я...

Но Ваня не даёт ей закончить; он горячим поцелуем заграждает ей уста; он, очевидно, предпочитает милое дело милому безделью. Солнце; ветер веет с реки, но вдали раздаются уже перекаты грома.

Третья глава застаёт нас на берегу реки. Осень; дождь так и хлещет; с реки стонет ветер; призывной голос пастушьего рожка умолк. Ваня – белые перчатки оказывается подлецом; он по-прежнему бьет бекасов, которые в этот год особенно жирны, и в то же время уверяет Машу, что ему нельзя, что он должен ехать, что в Петербурге будет происходить открытие общества постепенного прогресса, при котором он обязан присутствовать (и все-то ведь врет!).

– Ваня! – говорит Маша сквозь слезы, – ведь я...

Но Ваня опять не даёт ей кончить; он опять предпочитает милое дело милому безделью и суёт бедной, оболыщенной девице в руку двадцатипятирублевую бумажку. А ветер стонет и ноет. «Бедное, бедное дитя мое!» – стонет ветер. А дождик льет да льет как из ведра. «Бедное, бедное дитя мое!» – поливает дождик.

– Подлец ты этакой! – разве ты за двадцать пять невинности-то меня решил! (решил – лишил: couleur locale<sup>9</sup>) – восклицает негодующая Маша.

Эпилог застаёт нас на станции. Автор едет на почтовых по какому-то казенному поручению (эти авторы всегда по казенным поручениям и всегда на телегах куда-то стремятся: это их идеал). Разумеется, закладывают лошадей; солнце, с реки тянет ветер; вдали раздаются жалобные звуки пастушьего рожка. Ямщики ругаются (couleur locale).

– Лешой! – кричит рыжий парень с добродушно-веселым лицом, – ты куда супонь-ту девал? (Супонь! какво знание народного быта!)

– Оборотень! – отвечает брюнет с привлекательною наружностью, – рази я за твоей-ту супонью в надзератели наймовался?

Вдруг к крыльцу подлетает щегольская венская коляска, из которой вылетает, как легкое видение, прелестное существо, а с козел слетает ловкий лакей. Ну, автор, разумеется, сейчас к лакею (на то он и автор): кто такая? откуда едет? куда? зачем? и что везет?

– Едет графиня Марья Сидоровна, – отвечает лакей.

– Какая графиня Марья Сидоровна? – вопрошает автор.

– Какая Марья Сидоровна? Неужели? и т. д.

– О, да это, сударь, целый роман! – говорит лакей.

Оказывается, что Маша – дырявое рубище совсем не Маша – дырявое рубище, а графиня Марья Сидоровна; что она дочь графини Клавдии Алексевны, которая, желая приучить ее к труду, отдала на воспитание бедным поселянам, что потом все это открылось, что Ваня – белые

---

<sup>9</sup> местный колорит.

перчатки обо всем этом узнал и подъехал было с предложениями, однако ему указали дверь, вследствие чего он запил, прибил своего начальника и находится теперь под судом.

Оказывается также, что через неделю графиня Марья Сидоровна уже на другой станции (что-то уж много вы разъездились, ваше сиятельство!) встречает нищего, который стоит у крыльца и просит копейку; Марья Сидоровна вглядывается... ах! Перед нею стоит в пьяном виде Ваня – белые перчатки, который, за подлое свое поведение, произведен в Ваню – дырявое рубище!

## Повесть II

### Полуобразованность и жадность – родные сестры (Очерк из народного быта)

Лето; по дороге едут дьяконица с пономарицей; лошадь бежит ленивой рысцой и махает хвостом. Из-под колес поднимается пыль, от которой дьяконица и пономарица по временам чихают.

– Чай, к Успенью-то поедете? – спрашивает пономарица.

– Поедем... а вы?

– Ну, нам... – пономарица завистливо вздыхает, – а к Воздвиженью-то тоже поедете?

– Поедем... а вы?

– Ну, нам... – пономарица опять озлобленно вздыхает. Собеседницы умолкают, лошадь махает хвостом.

– Чи-их! чи-их! уж какую же только нонче пыль уродил бог! – говорит пономарица.

– Да, нонче пыль ничего, – отвечает дьяконица и, немного помолчав, прибавляет: – Здравствуйте! и еще здравствуйте!

Опять молчание; лошадь перестает бежать, но хвостом махает. Дьяконица клюет носом, изъясняя очевидное желание вздремнуть. Одна пономарица не дремлет; ее угнетает мысль: сколько перемен кушаньев будет у воздвиженского попа.

– Матрена Петровна! а Матрена Петровна! – говорит она.

– Что вам?

– А мед-то у воздвиженских подают?

– Подают и мед.

– А сначала-то, чай, щи с рыбицей?

– Сначала щи с рыбицей.

– Ну, так!

Опять молчат. Лошадь, побежавшая было рысцой, опять пошла шагом. Солнце так и палит лицо дьяконицы, с которого льют крупные капли пота. Пономарица как-то так устроилась, что лицо ее находится в тени. Дьяконица только отдувается и приговаривает:

– Уж и жарынь же уродил господь!

– Чи-их! чи-их! – расчихалась пономарица.

– Здравствуйте! и еще здравствуйте! – ответила дьяконица.

– И к Казанской поедете?

– И к Казанской поедем... а вы?

– Ну, нам...

В это время едет навстречу пьяный мужик; он лежит в телеге и напевает:

Что ты, Дуня, приуныла,

Призадумавшись, шельма, сидишь?

– Э! да это, никак, от Спаса наши конопляницы едут? – говорит он, поравнявшись с дьяконицей.

– Ну-ка, проваливай, суконное рыло! – ворчит пономарица.

Вдруг подле самой дороги запищал кулик.

– Ишь ты! – сказала пономарица.

– Божья тварь! – отвечала дьяконица и слегка усмехнулась.

– А к Покрову поедете? – спросила пономарица.

– Поедем и к Покрову, а вы?

– Ну, нам...

В это время телега въехала в деревню; у самой околицы чернеется кабак. Пономарица с дьяконицей переглянулись.

– Прру! – сказала дьяконица.

– Да стой же ты, лешой! – усугубила пономарица. – Матрена Петровна, при вас есть?

– Ну, и так поверят! чай, знакомые!

Пономарица начала слезать и задела за чеку сарафаном, на котором образовалась порядочная дыра.

– Ишь ты! – сказала пономарица, – точно вот в прорву! точно вот в прорву!

Дьяконица слезла благополучно. Пономарица не утерпела, чтобы не проворчать:

– Вот ведь небось не заденет за чеку... о, чтоб вас!

В кабаке никого не было; собеседницы забрались к целовальничихе и спросили пива.

– И к Введению поедете? – спросила пономарица.

– И к Введению поедем, а вы?

– Ну, нам...

Через полчаса приятельницы, обнявшись, выходили из кабака. Дьяконица усмехалась; пономарица называла ее красавицей.

– И к Михаилу Архангелу поедете? – спросила пономарица, когда обе уселись в телегу.

– И к Архангелу поедем, а вы?

– Ну, нам...

Пономарица замолкла; ее грызла мысль, будут ли подавать у архангельского попа лапшу. Лошадь бежала рысцой и махала хвостом.

– Всё-то вы ездите! пропасти-то на вас нет! – молвила наконец пономарица и сплюнула в сторону.

Дьяконица усмехнулась.

– И к Николе поедете? – спросила пономарица.

– И к Николе поедем, а вы?

– Ну, нам...

Уж было довольно поздно вечером, когда приятельницы въехали в родное село. Пастух пригнал стадо; дьякон сам загонял худую коровенку; пономарь сидел на завалине и бездействовал. Ему нечего было загонять, потому что у них и коровенки не было.

– А к Рождеству поедете? – спросила пономарица, прощаясь с дьяконицей.

– Поедем и к Рождеству, а вы?

– Ну, нам...

«Несытое твоё брюхо!» – думает лошадь вслед удаляющейся пономарице.

– А знаешь ли ты, что полуобразованность и жадность – две родные сестры? – раздаётся сверху голос, обращаясь, по всей вероятности, к лошади.

## Повесть III

### Сын откупщика (Истинное происшествие)

Квартира станового пристава; рассказывается история этого чиновника: прежде он брал взятки, но с тех пор как вышла из института и поселилась с ним его дочь, ангел Наденька, совершенно изменил свой взгляд на службу. Становой – красивый и добрый старик; чело его увенчивается великолепной лысиной, которая, в свою очередь, увенчивается прекрасными седыми локонами. О Наденьке нечего и говорить. Автор описывает ее так: «Всякому, – говорит он, – кто встречал на пути своем это неземное существо, становилось легко на душе и как-то отрадно».

Наденька и становой пьют чай; Наденька пристает к становому, зачем он становой?

– Помилуй, душа моя! – говорит становой, – как же мне не быть становым, коли я становым уродился?

– Становые все такие противные! – возражает Наденька и грациозно топает ножкой.

Становой задумывается и припоминает то время, когда весь, так сказать, во зле погрязал.

– А помнишь, Надя, – говорит он, тяжело вздыхая, – помнишь то время, как я... (показывает рукой хапанца).

– Не напоминайте! не напоминайте об этом, папаша, – говорит Наденька и спешит заградить уста папашины.

– Да, тяжкое было это время! и если б не ты... – произносит становой, захлебываясь от слез.

Приезжает Матвей Семеныч Сивушников. Он любит Надю, и Надя знает это, но он сын откупщика, а Надя не знает этого. Старик-становой знает это, но не знает, каким образом открыть Наде ужасную тайну. Дело в том, что Надя однажды проговорила.

– Я за всех выйду замуж, – сказала она, – я выйду замуж за разносчика, я выйду замуж за золотаря, но за откупщика... ни за что!

– А за сына откупщика? – произнес Сивушников, бледнея и едва удерживая слезы, готовые хлынуть из глаз.

– Ни за что! – повторила красавица Надя и грациозно топнула ножкой.

С тех пор Матвей Семеныч сделался мрачен и уныл; днем он как тень бродит по лесам и пещерам; вечером – является в квартиру станового и беспрестанно трет себе рукою лоб, ибо полагает, что на лбу этом есть клеймо, по которому Наденька тотчас же узнает его.

В этот вечер он является особенно озабоченным. По-видимому, он на что-то решился.

– Надежда Кондратьевна! – говорит он, – вы когда-то выразились, что не пойдете замуж за сына откупщика...

– Да, я сказала это, и теперь то же самое повторю!

И топает при этом ножкой.

– А если этот сын откупщика вас любит?

– Сын откупщика может любить только водку!

– Наденька! это ты несправедливо! – вмешивается становой пристав.

– А если вы сами любите сына откупщика? – настаивает Сивушников.

Надя конфузится; она вопросительно смотрит на своего собеседника; она боится угадать страшную истину. Однако благородные мысли всплывают наверх.

– Я-то? я-то? мне полюбить сына откупщика! – восклицает она, – ни за что!

– Это ты, Надя, несправедливо! – опять замечает становой пристав.

– Но ведь это уж предрассудок, Надежда Кондратьевна! – горячо вступается Сивушников, – зачем же вы хотите сделать сына солидарным отцу!

Наденька, разумеется, возражает; всякому понятно, что высказанная Сивушниковым мысль была до некоторой степени неожиданностью для нее. Она возражает слабо, но щеки ее горят и грудь подымается высоко. (Заметьте, что «благородные» сочинители вообще любят описывать, как подымаются груди.)

– Ведь вы же первые, – продолжает Сивушников, – вооружаетесь против тех, которые не принимают в великосветское общество молодых людей, происшедших от вольноотпущенных, от мещан и разных ведомств крестьян! но скажите, пожалуйста, не то ли же самое делаете вы сами!

– Нет, не то же...

– Нет, то же!

– Это ты, Надя, несправедливо!

– Стало быть, по вашему мнению, можно оставить откупщика ненаказанным? – горячится Надя, топя ножкой.

– Откупщика – так! мой отец наказан – это так! мой отец воняет – это так!

– Ваш отец? что я слышу?

– Да, Надежда Кондратьевна, я... я сын откупщика! – восклицает Сивушников, падая к ногам Наденьки.

Наденька слабо вскрикивает и теряет чувства; через минуту она открывает, однако ж, глаза, в которых уже виднеется томность и... прощение!..

– Надежда Кондратьевна! жизнь или смерть сулит мне этот небесный взгляд? – пристаёт Сивушников.

Вместо ответа Надя подает ему руку.

«Замечательно, – прибавляет от себя автор, – что в это время Сивушникову предстояла богатая партия в лице дочери откупщика Какикаки, но он пренебрег миллионом приданого, чтобы только соединиться с своею красавицей Надей. Отец его, однако ж, не рассердился на него за этот брак: он сам стыдился своего прошлого!»

Да не подумает читатель, что я шучу. Нет, я уверен, что если он захочет потревожить свою память, то сам убедится, что книжки журналов сплошь наполнены такими повестями. Но еще более находится их в журнальных редакциях. Что такое, например, эти «Театральные закоулки», эти «Испорченные жизни», эти «знахари» и «знахарки», которые блестят такими крупными перлами в современной беллетристике? Что это такое, как не благородство чувств, обставленное совершенным отсутствием таланта и приправленное крошечным куриным мирозерцанием и крошечною же куриною наблюдательностью?

Мало вам повестей и рассказов – вот вам комедия:

## **Бедная племянница** **Комедия в двух действиях, соч. И. Л. Г**

Это уж не плод моей фантазии, это не шутка, а комедия действительная, представленная в первый раз в Петербурге на театре 3 января сего года.

Представьте себе, что тут все дело состоит в том, что есть на свете какая-то графиня Клавдия Алексевна, которая помешалась на том, что она графиня Клавдия Алексевна, и которая, с помощью разных беспутств, разорилась до такой степени, что никто не хочет ее признавать графиней Клавдией Алексевной. И вот эта ужасная женщина, для того чтобы поправить свои стесненные обстоятельства, хочет выдать свою дочь за миллионера Меригина, которого дочь не любит, а любит племянница, и который сам не знает, кого он любит: дочь или племянницу. «Тогда, – говорит графиня Клавдия Алексевна, – я буду по-прежнему графиней Клавдией Алексевной!» – «Графиня! – с своей стороны напоминает ей автор, – помните, что тщеславие и в золотых палатах – всё тщеславие!»

Разумеется, эта язвительная затея ей не удастся, потому что природа окружила ее благородными людьми. Дочь ее, графиня Зина Клавдиевна, девушка не столько умная, сколько благородная, весьма основательно рассуждает, что она любит не Меригина, а Ваню, и что, следовательно, если она отдаст руку Меригину, то сделает пакость. В этом укрепляет ее племянница Ольга Клавдиевна, тоже очень благородная девица, но притом и не пренебрегающая собственными выгодами, и Карл Антоныч Фишер, которого благородство как ни замечательно, но никак не может сравниться с его тупостью. Графиня Клавдия Алексевна остается с носом и теряет всякую надежду «быть по-прежнему графиней Клавдией Алексевной». Еще бы! ведь это все равно что замужней женщине быть по-прежнему девицей! Вот единственное сколько-нибудь разумное нравоучение, которое зритель может извлечь из комедии.

И вот такая-то комедия дается всенародно на театре, и находятся даже бедные племянники, которые наслаждаются ею и шумными кликами вызывают автора «Бедной племянницы». Что означают подобные явления? и в особенности, что означает обилие их? Конечно, рассматриваемые сами по себе, они до того ничтожны, что не следовало бы даже утомлять ими внимание читателя, но в том-то и дело, что их надлежит рассматривать не в уединении, а в связи с общим течением жизни. В этом последнем смысле, служа выражением известной стороны общественной деятельности, они представляются фактом далеко не забавным. С невольным страхом спрашиваешь себя: неужели общественные стремления могут быть до такой степени убогими? неужели может существовать такая жизнь, в которой все картонно: и куриные помыслы, и куриные желания, и куриный способ выполнения?

Да, стало быть, такая жизнь возможна, коль скоро она выродила из себя целую литературу. Для чего же мы шумели, куда же мы стремились, из-за чего мы так громко хлопотали? Из-за того ли, чтоб в результате вышло, что жизнь есть река, человек – пловец, лодка – величественное здание общества, весло – прогресс, а волны – тщетная реакция бессмысленных ретроградов? Да ведь на эту тему литература наша более сорока лет сряду отравляла публику! И ведь никто не хочет сообразить, что это картонное благородство чувств есть лишь ближайший шаг к благонамеренности, той самой благонамеренности, о которой я объяснял читателю в прошедшей моей хронике. Скажу даже более: черта, которая проведена между ними, до того тонка, что почти незаметна. Ибо, если благородство чувств стоит на том, чтоб доказать, что добродетель добродетельна, а порок порочен, то и благонамеренность не отрицает этого, и даже охотно погладит по голове за такие приятные мысли. Тут не только представляется легчайшая возможность для компромисса, но даже нет никакого основания для разладицы. «Из-за чего мы спорим! – скажет благонамеренность благородству, – и ты глупо, и я глупа! а если мы оба глупы, то не лучше ли нам сочетаться законным браком!» Благородство, услыша такие слова,

подумает, подумает, да и сделается потихоньку благонамеренностью. Никто этого и не заметит, потому что оно, в сущности, и всегда было благонамеренностью. Кто заметил, как «Русский вестник» сделался благонамеренным? никто! – всегда был. Кто заметит, как «Время» сделается благонамеренным? никто! – всегда было.

Благородство чувств никогда не усматривает связи между явлениями, никогда не группирует их, никогда не размышляет о том, в каком отношении находится частный факт к целой системе: оно слишком взволновано для этого. Оно преследует какие-то пылинки, оно бумажку какую-то загоняет, оно замахивается обухом на божью коровку и на комара. Оттого-то оно и не огорчает никого, само же, напротив того, легко приобретает способность удовлетворяться. И однажды получивши эту способность, оно уже не останавливается; оно утрачивает последние остатки своей куриной неприязненности к куриному злу, которая составляла основу его, и делается способным проповедовать только истины вроде того, что куриный мир красен, что куриное солнце светло и что куриный навоз благоуханен.

Доказательств подобного куриного благородства не занимать стать. В Петербурге существует даже целая газета, которая поставила себе за правило служить проводником куриного благородства. Назовем эту газету хоть «Куриным эхом». От первой строки до последней она все умиляется, все поет: «Красен куриный мир!», «Тепло греет куриное солнышко!»; от первой строки до последней все докладывает, какие сделались россияне умные, как у них все это идет, всякие эти новые штучки. «Из Рязани пишут, что выборы произведены в совершеннейшем порядке»; «Из Саратова пишут, что по случаю упразднения откупов ожидали некоторых беспорядков, однако все обошлось смирно: народ пил дешежку и похваливал, приговаривая: «дай бог здоровья батюшке царю!»; «Из Калуги пишут, что там, по случаю назначения нового губернатора, дворяне решились дать бал»; «Из Костромы пишут, что там дворяне решились дать бал без всякого случая»... Даже урожаи у этой газеты везде хороши: саранча была, да и против той принимаются меры, которые позволяют надеяться, что впредь этой язвы никогда не будет; даже погода у ней стоит всегда благоприятная: были сначала дожди, но вред, произведенный ими, уничтожен благодаря просвещенным стараниям начальства. И никогда-то не напишет никто «Куриному эху», что, например, у нас на сходке, в Глупове, одного мирового посредника всего, между шутками, веселые робята сзади в кровь исщипали за то, что тот посредник не таков, какого нам надобно...

Такого рода сплошным благородством давно уже с величайшим успехом занимаются все губернские ведомости обширной Российской империи. Неужели же наша литература осуждена превратиться в губернские ведомости? ужели общество, для которого литература все-таки служит органом, допустит такое нелепое превращение?

Многие думают, что бесплодие современной «изящной словесности» оттого происходит, что никакого литераторам поощрения нет. Это правда.

Из-за чего трудиться? – спрашиваю я иногда самого себя, – из-за чего убиваться? Будешь писать хорошо, будешь писать дурно – все в том же ранге останешься; будешь ставить знаки препинания, где следует, или станешь допускать в этом деле лирический беспорядок – все-таки кавалером не сделают! Господи! хоть бы масличные ветви, что ли, в руки дали! да так, чтобы и ходить с ними, и не сметь бы их прятать! или шпагу бы на правую сторону привесили, или воротник такой: сова-лира, сова-лира, лира-лира-лира, а в середине опять сова; мудрствует-поет, мудрствует-поет, поет-поет-поет и опять мудрствует! Возьмите хоть то в расчет: теперь является литератор в дом, где имеются богатые невесты, – никто и внимания на него не обращает, а тогда, как бы с масличною-то ветвью в руках... вот уж подлинно бы разахались!

Вообще, я об этом предмете много думал и пришел к заключению, что без поощрения никак нельзя.

Много у меня на этот счет проектов в голове: отчего ж не сообщить их читателям?

Во-первых, можно было бы учредить «постоянных меценатов»... ну, хоть по одному меценату на каждую часть города. Теперь, если литератор находится в горести, если он негодует на мир, если он, одним словом, не знает, куда деваться с тоски, – куда он обратится? единственное для него убежище танцкласс... поймите, как это вредно! А тогда он прямо пойдет к меценату, выплатит у него на груди свое горе – и возвратится домой веселый!

Во-вторых, если б не нашлось таких лиц, которые добровольно пошли бы в меценаты, то можно бы эти должности сделать обязательными, наравне с прочими городскими должностями. А для поощрения этих меценатов можно бы и для них двух-трех меценатов сделать, на груди которых и они могли бы выплакать свое горе. Или знак отличия какой-нибудь дать... какой бы, например? ну, например, хоть белый колпак...

В-третьих, если бы и этот проект оказался непрактичным, можно бы должность меценатов возложить на квартальных надзирателей, которые входили бы в квартиры литераторов, смотрели бы, прилежно ли они занимаются, не увлекаются ли малодушеством, поощряли бы, понуждали бы... Это уж так просто, что даже изумительно, как никому в голову до сих пор не пришло. Впрочем, нет – пришло: по крайней мере, нечто подобное нам рассказывал в «Петербургских ведомостях» г. Громека про одного квартального надзирателя, заведывающего искусствами в доме Шамо, близ Семеновского моста...

В-четвертых, можно бы купить дом кн. Вяземского на Сенной и подарить его литературе...

В-пятых, можно бы в Летнем саду ристания какие-нибудь устроить...

В-шестых, можно бы поручить г. Семевскому водить литераторов по праздникам по Петербургу и показывать: вот тут блаженная памяти императрица Анна Ивановна, а тут блаженная памяти императрица Елизавета Петровна...

Можно бы на адмиралтейской площади столб, обмазанный медом, поставить...

Можно бы возобновить инспекторский департамент гражданского ведомства.

Можно бы и опять закрыть инспекторский департамент гражданского ведомства, а литераторам по этому случаю назначить значительные пожизненные пенсии...

Можно бы, вместо одного театрального комитета, учредить таковых два...

Можно бы отличившегося литератора пустить на полчаса в кладовую императорского кабинета, выбирай, дескать, что хочешь! Разинет рот – а ничего не выберет! Ну, сам виноват!..

Можно бы отличившегося литератора пустить в магазин ювелира, занимающегося производством орденов, – выбирай, дескать, что хочешь...

Да и мало ли что можно было бы сделать!

Главное дело, чтобы литература понимала, чтобы литература чувствовала... Ну, и еще, разумеется, главное, чтобы рядом с системою поощрений существовала и соответственная система наказаний. Без этого тоже нельзя.

Итак, читатель, хотя я и не сдержал обещания, сделанного в конце последней моей хроники, однако сделал для тебя все, что от меня зависело, то есть показал тебе язву, но вместе с тем не скрыл, что имеются и средства к ее исцелению.

Я не поступил, как поступают свистуны, «свистящие из хлеба», которые кричат: «язва! язва! язва!» а что за «язва»? где «язва»? и как с этой «язвой» поступить? – ничего не объясняют. Но вместе с тем я не последовал и примеру «Куриного эха», который говорит, будто бы язв и совсем уж нет.

Я прошел по середочке.

Я говорю: утешьтесь, господа, язвы есть! но есть, господа, и пластыри! лечите! старайтесь!

Я говорю: пусть каждый из нас выберет себе свою особенную язвочку! Пусть «Смрадный листок» говорит, что язвы можно лечить посредством доноса; пусть «Куриное эхо» утверждает,

что язвы можно лечить, скрывая их, – в том расчете, что, может быть, и забудутся как-нибудь! пусть «Время», пусть «Наше время», пусть «Русский вестник»... пусть, одним словом, всякий свою капельку, – и я убежден, что соединенными нашими усилиями мы, наверное, принесем на грош пользы! Я говорю: пусть только останется запевалой г. Громека, а уж хор найдется! Подтянет М. М. Достоевский, из Москвы аукнет Н. Ф. Павлов...

И всё будет хорошо, и всё пойдет как по маслу, и все мы запоем едиными устами и сердцами:

Ах, пришли, пришли наши красны дни!

Р. С. Настоящая хроника уже была набрана, как я получил от одного нигилиста статью с убедительнейшею просьбой напечатать ее. Не нахожу лучшего средства исполнить желание моего друга-нигилиста, как заключив его статьею мою хронику. Вот эта статья:

### ТРЕВОГИ «ВРЕМЕНИ»

Из-за моря птицы прилетали,  
Прилетали, в роще толковали.

Так гласит в 1 № «Времени» поэт Ф. Берг, отнюдь не подозревая, что он пишет самую язвительную характеристику того самого журнала, в котором помещает стихи свои. Прилетали птицы: М. Достоевский, А. Григорьев, гг. Страхов и Косица.

Прилетали, в роще толковали.  
Разумеется, толковали чепуху:  
– Эх, беда теперь нам, птицам смирным,  
Смирным птицам, утицам залетным,  
На земле житья совсем не стало  
Птице смирной, птице перелетной.  
Полетим мы, птицы, на болота,  
На болота, дальние озера;  
В камышах повьем мы, птицы, гнезда,  
В камышах, туманах непроглядных (?)...  
Будем, птицы, плавать по затишьям,  
По затишьям, по озерам тихим;  
Повыведем, птицы, деток малых,  
Лебедяток да утят серых;  
Пролетим мы, птицы, над полями,  
Над полями, хлебными полями,  
Проживем мы, птицы, за людьми,  
За людьми, сельскими людьми.  
Из-за моря птицы прилетали,  
Прилетали, в роще толковали.

Ф. Берг.

Какова поэзия! Хорошо, что все это не взаправду написано, хорошо, что все это изображено с язвительною целью представить верную характеристику «Времени». Нам даже не безызвестно продолжение этой диковинной пьесы, которое, однако ж, не помещено во «Времени». Вот оно:

Так и Достоевских пара и с Косицей  
Цыркают: беда нам! ах, беда нам, птицам!  
Мы ли, птицы-птицы, смирно не живали,  
Смирно не живали, в роще толковали,  
В роще толковали, смирно не живали,  
Смирно не живали, в роще толковали;  
Плавали в затишьях да в озерах тихих,  
Страховых плодили да Косицят серых,  
Косицятток серых, Достоевских белых,  
Смирно поживали, в роще толковали,  
В роще толковали, смирно поживали,  
Смирно поживали, в роще толковали...  
И так далее: помнится, листа два есть.

Подобно этим бедным птицам, «Время» почему-то встревожилось. Все ему кажется, что кто-то его притесняет, кто-то хочет утянуть у него пару подписчиков. Кто тебя, душенька? кто тебя ушиб? топни, душенька, топни ножкой!

Вы ошибаетесь, «Время»: никто вас не ушиб. Никто вас не притесняет, никто даже не думает об вас. Занялся было вами одно время «Современник», предполагая, что из вас может что-нибудь выйти, но теперь, вероятно, и он оставит это занятие. Очень уж употребляете во зло то внимание, которое вам оказывается.

Что вы сказали такого, что можно было бы уловить и формулировать, по поводу чего можно было бы вооружаться против вас? Ничего вы такого не сказали. Что вы такого сделали, что можно было бы назвать каким-нибудь именем? Ничего вы такого не сделали.

Вы сидели, птицы, в роще толковали,  
В роще толковали, смирно поживали,  
Смирно поживали, в роще толковали,  
В роще толковали, смирно поживали...

Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что вы открыли каких-то «свистунов, свистящих из хлеба, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма». Это самое ясное из всего, что вы сказали. И вы думаете, что кого-нибудь этим обидели?

Кого вы обидели? кто заявлял вам об обиде? По поводу чего вы объясняетесь и извиняетесь? На основании каких резонов, с какого права, с чьего разрешения вы приплели Чернышевского и Добролюбова в эту грустную повесть ваших самолюбивых тревог? Да скажите же, скажите, кто жаловался вам на обиду?

Может быть, вам жаловался Иван Федорыч Шпонька? Может быть, вами уязвлен титулярный советник Поприщин? Или вы подпустили обиняка Ивану Никифоруичу Довгочхуну? Или вы спорите и разговариваете с покойником Булгариним? Так вы так и объявляйте, что вы именно Шпоньку обидели, а не заигрывайте с какими-то незнакомцами, которые, быть может, и не знают об вас!

Знаете ли что? Я думаю, что вам даже никто не жаловался, что вы сочиняете эти неслыханные обиды нарочно для того, чтоб иметь повод самим с собой разговаривать и затем получить возможность похвастаться перед публикой: вот каково мы обидели, что и отмахаться не можем! Вы устраиваете примерное сражение; вы сами себя уязвляете, да потом сами же себе приносите оправдания и извинения. Косица обидит Косицу, Страхов Страхова, Григорьев Григорьева, а потом и поведут сами с собой ожесточенную полемику! Этот прием не нов; про-

читите в прошлом номере «Современника» статью г. Дмитриева «Провинциальная газета», и убедитесь, что герой этого рассказа давно уже употреблял его для придания живости своему журналу.

Что ж тут обидного, что вы упомянули о каких-то свистунах, свистящих из хлеба? Это тупо, и больше ничего; это так тупо, что даже прелестно, но это не прелестнее всего прочего, что вы пишете в вашем журнале. Какой руководящей мысли вы были органом? никакой. Что вы высказали? ничего. Вы постоянно стремились высказать какую-то истину вроде «сапогов всмятку», вы всегда садились между двух стульев, и до того простирали свою наивность, что даже не хотели заметить, как шлепались на пол.

И не то чтобы вы не стремились обидеть кого бы то ни было: нет, у вас есть желание не только обидеть, но даже живьем проглотить. Но бог знал эту вашу злобу и, чтобы не допустить вас обижать других, обидел вас самих, то есть не дал вам ни умения, ни остроты ума, ни – главное – фонда никакого, из которого можно было бы отправляться, чтобы наносить удары врагам.

Например, вы очень желаете обидеть «Русский вестник» и называете его то болгаринствующим, то теймствующим. Видите ли, вы даже выражения-то своего выдумать не в состоянии, вы даже острите на чей-то манер. А знаете ли вы, что с «Русским вестником» все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере, не обманываешься: войдешь в «Русский вестник» – ну и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь – не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и скользко...

Вы называете г. Каткова болгаринствующим, но разве неправ будет тот, кто вас, «Время», назовет катковствующим? Вот я, например, именно одарен такую прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени.<sup>10</sup> Мало того: я даже думаю, что если признавать силу болгаринской традиции, то надо признать, что она уже коснулась и вас... разумеется, покуда только невинной своей стороной. Ведь и Булгарин проводил что-то вроде сапогов всмятку, ведь и он никогда не говаривал, что душа человеческая не бессмертна и что за воровство не следует наказывать. Вы говорите и проповедуете то же самое, да притом хотите еще отвести глаза, хотите уверить, что у вас все это свое, самостоятельное. Напрасно. Верьте, что чем больше будете таким образом самостоятельными и своим умом доходить, тем более и более будете приближаться к идеалу, от которого вы теперь отворачиваетесь с таким презрением.

Вы говорите, что г. Каткова оспаривать можно и следует (и что вы так пристали к Каткову? или вы получили от него разрешение? смотрите, ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется – и не пикнете!), да ведь и это еще не вовсе плохое дело, коли есть что оспаривать, а вот

---

<sup>10</sup> Верность этого замечания поразительна. Во 2-м своем номере «Время», желая избить одного из наших сотрудников, по поводу помещенной в 1-м томе «Современника» рецензии на «Литературную подпись» г. Скавронского, поместило статью «Молодое перо», в которой, во-первых, сравнивает нашего сотрудника с бароном Брамбеусом и, во-вторых, обращаясь к нему, постоянно называет его «молодым человеком». Точь-в-точь такое же сравнение и обращение делал два года тому назад «Русский вестник», у которого «Время» все это и заимствовало, разумеется, внеся в это заимствование своих собственных «сапогов всмятку». Эти «сапоги всмятку» заключаются в том, что будто бы наш сотрудник-рецензент до того «впился в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставил прежнее у порога»... Читая эти слова, мы долго не могли прийти в себя от изумления. Что это такое! да ведь рецензия не подписана! к кому же может относиться обвинение «Времени»? и как могло узнать «Время», кто именно написал статью, приведшую его в такое волнение? Или, быть может, «Время» имеет привычку справляться у наборщиков типографии, в которой печатается «Современник»? Но если это так, то уверяем вас, о «Время», что наборщик, сообщивший интересные для вас сведения, обманул вас. Лицо, которое вы так легкомысленно упрекнули в чем-то «прежнем», уже четыре года постоянно и исключительно печатает свои сочинения в «Современнике», если же в прошлом году и было помещено несколько его рассказов во «Времени», то это произошло единственно оттого, что «Современник» был закрыт, а налагать на уста молчание не всегда бывает для литератора удобно. Следовательно, интересы «Современника» всегда были близки этому рецензенту, следовательно, и впиваться было не во что, следовательно, и слова ваши, как и все вообще ваши слова, суть не более как толкование в пустыне и о пустыне. Что же касается до того, что вы в полемике своей против неизвестного вам рецензента сослались на пословицу «береги честь смолоду», то надо думать, что презренная эта выходка употреблена вами в припадке особенного увлечения и что впредь этого с вами не случится. – Ред. <«Современника».>

когда худо, коли и спорить не об чем. Возьмите, например, «Время»: за что ни прицепись – все гладко; хоть всю книжку обшарь (разумеется, мы не говорим о беллетристике), ни обо что не запнешься! А вы еще говорите, что вас кто-то за что-то не любит!

Сидят птицы смиренно,  
Живут-поживают, в роще всё болтают... –

да вдруг и вообразят себе, что их кто-то не любит! Да за что же вас не любить-то? И кто же на свете такой человек был, который бы смиренных птиц не любил?

Вы говорите, что вас не любят за то, что вы самостоятельны, за то, что вы не подражаете. Но ведь разве вы взаправду самостоятельны, разве вы не притворяетесь? Нет, вы подражаете; вся хитрость ваша в том состоит, что вы всем понемножку подражаете, у всех чего-нибудь с крошечку утянете, да и прикроете эту смесь тем, что напустите в чужие мысли своих сапогов всмятку. Собственно вашего только и есть. Да ведь это еще счастье, что у вас есть хоть «сапоги всмятку», ибо какой же орган русской литературы, сколько-нибудь заботящийся об интересах защищаемого им дела, может желать, чтобы вы ему подражали? Ведь это значило бы просто желать своей собственной смерти, ибо всем известно, что ничто так не убивает дела, как неловкое подражание ему. Неловкий подражатель всегда или не доскажет, или перескажет что-нибудь – ну, и сразит! вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Н. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет? вспомните это и поймите, кому же может быть надобность в вашем подражании, в вашей помощи?

Вы говорите, что первые вооружились против авторитетов, и в то же время отмахиваетесь от тех, которые будто бы обвиняют вас за то, что вы не вооружались против Тургенева, Писемского и т. п. Вот видите ли, вы даже понятия об авторитете не можете отделить от чьего-нибудь лица, вы даже думаете, что авторитет есть что-то такое, что можно ощупать, поцеловать и т. д. Для вас есть авторитет-Тургенев, авторитет-Добролюбов, дальше вы не идете. Я уверен, что у вас имеются даже авторитеты белокурые, авторитеты с проседью и авторитеты черноглазые. Я бы советовал вам просто прекратить разговор об таких делах, а если уж так придется, что не сказать нельзя, то как-нибудь проглотить, оставить белое место и потом сослаться на печатника: выпало, дескать, слово это в то время, как форму в станок клали. А то ведь таких «антиспатов» наскжете, что после целую жизнь за вами будут мальчишки бегать да приговаривать: антиспат! антиспат! антиспат!

И еще вы объявляете, что в тех сочиненных вами врагах (главнейшие-то враги ваши суть: М. М. Достоевский, Страхов и Косица), которые вами обижены и перед которыми вы извиняетесь, ничего нет русского. «Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать», – говорите вы. Ну, не в пустыне ли вы проповедуете? и об ком это вы говорите? Выдумали себе каких-то несуществующих врагов да и шпигуете их чем попало! И об червонорусах тут же кстати что-то пролепетали, об каких-то четырехсотлетних страданиях! Что, я думаю, беготни-то стоило вам определить эту четырехсотлетнюю цифру! чай, у всех знакомых переспросили, точно ли четыреста лет, а не триста девяносто девять! Как бы опять «антиспатов» не наврать! И об чем это, об каких это страданиях вы говорите? И зачем вы анонимы употребляете? зачем вы беседуете с читателем в форме какого-то невинного письма от Машеньки Н. к Оленьке Р.?

А в вас-то что русского? А что, если мы докажем, что все ваше русское есть не более как арбузные корки, выкинутые вам покойною «Русскою беседой» за ненадобностью и обглоданием? А что, если мы докажем вам, что в вас только и есть русского, что «Мертвый дом»?

И еще вы хвастаетесь, что вас любит публика, что у вас много подписчиков. Знаете ли, кому вы этим обязаны? вы обязаны этим «Современнику», который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный; вы обязаны этим временному прекращению того же «Современника», которое на минуту сосредото-

чило у вас все литературные силы. И тут покровительствующею вам силою явились совсем не собственные ваши сапоги всмятку, а чужая неудача. Все-то в вас чужое: ваши мысли суть объединенные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели»; даже ваше счастье есть чужая неудача.

Чего же вы пугаетесь? сами себя пугаетесь. С кем вы воюете? сами с собой воюете.

Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, что сами же свои собственные внутренности раздираете и тут же совершенно искренно убеждаетесь, что раздирает их вам кто-то посторонний. Ведь до этого доходил только Хлестаков, когда уверял, что сочинил Юрия Милославского!

Из-за моря птицы прилетали,  
Прилетали, в роще толковали...

Ну, какая может грозить беда «птицам смиренным, смиренным птицам, утицам залетным»? Да не верьте же вы г. Ф. Бергу: он вас обманывает, он, кажется, даже хочет польстить вам... Сидите себе смиренно, каждый на своей ветке, и толкуйте.

В роще толковали, смирно поживали,  
Смирно поживали, в роще толковали...

Хотите, я сейчас же пять печатных листов таких стихов напишу? Хотите, я каждый месяц сто таких книжек сочину, как 1-й № «Времени» за сей 1863 год?

Только и не могу сочинить одну драму Островского. Драма! драма! как ты в рощу попала?

### <III. Апрель 1863 года>

«Мальчишкам» делают упрек в несправедливости; утверждают, что они мало того что несправедливы, но даже возводят несправедливость на степень принципа, находят, что о справедливости не должно быть и речи. «В природе, – говорят поборники справедливости, – есть много милых вещей; одни мальчишки не признают их милыми»...

Этот пункт необходимо разъяснить. Что такое справедливость? По поводу чего справедливость? К кому и к чему справедливость?

Если вы вникнете попристальнее в тот смысл, который придается слову «справедливость» ее ревнителями, то легко догадаетесь, что в нем звучит чуждая нота, что тут дело идет совсем не о справедливости, а о снисходительности. «Вы резко относитесь к вещам и лицам! вы забываете, что нельзя же все вдруг!» – вот наиболее употребительная формула, которая при этом пускается в ход и которая самым наглядным образом удостоверяет, что под «справедливостью» отнюдь не следует разуметь «справедливость» действительную, а нечто другое. Чтобы доказать, что это совсем не произвольное с моей стороны предположение, я обязан войти в некоторые разъяснения.

Справедливость или, лучше сказать, правосудие выражается в правильной оценке известного порядка вещей, известного факта, известного действия отдельного человека. Это просто суд, на отправление которого имеет право всякий человек, обладающий способностью мышления. Во имя чего отправляется правосудие? Во имя чего судья известное человеческое действие признает заслуживающим порицания, а другое действие, напротив того, заслуживающим похвалы? В удовлетворительном разрешении этих вопросов заключается вся сущность дела. Хотя всякий мыслящий судья необходимо судит о вещах жизни во имя известного жизненного идеала, тем не менее суждения людей о вещах и лицах весьма разнообразны. Такое разнообразие суждений, очевидно, происходит от разнообразия идеалов, а это последнее есть следствие крайней неположительности и неточности так называемых социальных наук. В особенности резкое различие оказывается между приговорами суда привилегированного, окрепшего, и приговорами так называемого суда общественного. И, конечно, причина этого различия будет для нас ясна, если мы припомним, что привилегированный суд отправляет свое правосудие во имя идеалов тоже привилегированных, а суд общественный действует во имя идеалов более или менее не выработанных, не вошедших в общее сознание, спорных. Следовательно, то, что в первом случае является делом простого, почти механического сопоставления исследованного факта с готовым определением его, во втором случае представляет обширную область для колебаний и более или менее проблематических поисков. Но речь покамест идет не о том, каким идеалам отдать предпочтение: ходячим или только подозреваемым, – речь о том, возможна ли для судьи и в том и в другом случае иная формула суждения, кроме положительной или отрицательной? Может ли тут быть допущено, вместо простого и ясного «да» или «нет», какое-нибудь маленькое «да», маленькое «нет»? Предложите каждому из нас этот вопрос, исключительно относя его к суду привилегированному, – каждый из нас нимало не усумнится сказать: нет, маленького «да» тут не может быть. Это и совершенно естественно, потому что мы понимаем, что здесь идет речь о факте и что рядом с этим фактом существует и готовое мерило для оценки его: привилегированный идеал привилегированной справедливости. Согласно с требованиями этого идеала, судья не может сказать «виноват – не виноват» даже и тогда, когда он не понимает факта, даже и тогда, когда факт, по своей оригинальности, не подходит ни под какие определения привилегированной правды. В этих последних случаях он должен сказать: я не понимаю факта и потому удаляюсь. Совсем другими являемся мы, когда идет речь о суде общественного мнения или одного из его органов: тут наши требования изменяются, и изменяются именно вследствие многообразия идеалов, с высоты которых

мы смотрим на предметы и людей. То есть, коли хотите, каждый из нас лично все-таки действует точно с тою же резкостью, как и обладатель привилегированных идеалов, но в отношении к обладателям идеалов, противоположных нашим, мы этой ясности действия признавать не хотим. И тут-то именно выступают на сцену те воззвания к снисходительности, умеренности и другим более или менее сводническим способностям, с помощью которых человеку так легко ужиться со всякою средою, если даже эта среда и не удовлетворяет его. А подкладка всего этого: «Мы будем говорить, а вы молчите, мы будем приговоры изрекать, а вы приводите их в исполнение! Мы одни имеем право быть мудрыми». И не то чтобы тут была какая-нибудь военная хитрость, то есть что вот, дескать, от вашей резкости и вашего нетерпения только делу поруха, будьте, дескать, кротки, как голуби, и мудры, как змеи, – нет, это просто какое-то нравственное ожирение, не желающее знать никаких противоречий, это просто невинно-фаталистическое чаяние, что все в мире строится само собою, что был успех прежде, будет успех и впредь... сам собою...

Между тем тут есть очевидное недоразумение, ибо точка отправления как суда привилегированного, так и суда общественного, собственно, одна и та же: идеалы. Если общественный идеал еще не выяснился до той степени, чтобы быть признанным всеми одинаково, и если, с другой стороны, общество, в официальной, торжествующей своей форме, довольствуется одними азбучными истинами, из этого вовсе не следует, чтобы все члены общества непременно обязывались довольствоваться азбучными истинами и чтобы тот или другой член не мог иметь своего особого представления об идеале. Напротив того, существование привилегированных идеалов, официальное признание справедливости одних старых, азбучных истин нисколько не мешают протесняться в жизнь иным идеалам, иным истинам. И эти новые идеалы, эти новые истины, несмотря на свою непризнанность, все-таки не теряют права на название идеалов и истин, потому что они действительно идеалы, действительно истины, хотя не вошедшие еще, так сказать, в общее употребление.

Чтобы сделать мою мысль яснее, прибегну к примеру: укажу на литературу, которая везде и совершенно справедливо признается главным органом общественного самосознания, и преимущественно укажу на журналы, как на органы литературы. Если журнал не имеет твердых понятий о том, куда он идет и чего хочет, если он занимается донашиваньем чужих одежд и доглядываньем чужих оглодков, заслуживает ли он чести называться органом и руководителем общественного мнения? Нет, не заслуживает, и это до такой степени справедливо, что просто ни на один журнал нельзя указать, который не имел бы своего ясного мирозерцания. Возьмите, например, «Русский вестник» – что может быть определительнее и точнее! У него есть свой собственный взгляд и на прогресс, и на зундскую пошлину, и на польские дела, и даже на поджигателей; и никто ему не говорит: не имей своего взгляда, выражайся так, чтобы понять тебя было невозможно. Напротив того, все говорят: очень приятно, что ты так положительно, так ясно и так величественно-строго выражаешься! Если иногда, по обстоятельствам, и нельзя с тобой спорить, то, во всяком случае, можно тебя цитировать – и этого покамест довольно. Свобода мысли, свобода убеждений дело до такой степени святое, что даже то, что мы иногда называем несправедливыми мыслями, несправедливыми убеждениями, и то должно пользоваться правом гражданства. Вот, например, в 1-м своем № за настоящий год «Русский вестник» делает легкое сопоставление между деятелями подметной литературы и петербургскими пожарами; можно на это, конечно, сказать, что такое сопоставление несколько гадательно и отчасти пошло, что, наконец, не далее как в прошлом году «Современная летопись» публично отплеывалась от возможности подобных сопоставлений, но запретить «Русскому вестнику» производить подобные операции нельзя, ибо они соответствуют его идеалам. Конечно, многим кажется, что «Русский вестник» может говорить что ему угодно, может даже ошибаться по временам, именно в силу того, что основание у него хорошее, а вот, например, «Современник» говорить не может, потому что основание у него плохое. Но ведь не надо забывать, что вопрос

об основаниях есть вопрос очень спорный. Почему именно основания «Современника», а не основания «Сладкого бремени», не основания «Куриного эха» должны считаться плохими? почему именно «Современник» должен считать себя отверженным? Ведь этих вопросов никто еще не разрешил, ведь об них еще спорят. А если и за всем тем находятся органы, которые простигают к «Современнику» подобные деспотические притязания, то очевидно, что в основах их лежит неблагоприятная страсть к единоторжию мысли и суда. Спорьте, милостивые государи, опровергайте, даже доказывайте, что «Современник» несправедлив с вашей точки зрения, но позвольте же ему быть справедливым с своей точки зрения! Ведь притязания ваши клонятся, ни много ни мало, к тому, чтобы сделать из всех деятелей литературы чистописцев, смиренно заносащих на бумагу изречения М. Н. Каткова... ну, нет, на это мы не согласны!

И совсем не потому мы не согласны, чтобы считали для себя унижительным писать под диктант М. Н. Каткова, а просто потому, что имеем свой собственный образ мыслей. И в силу этого-то именно образа мыслей мы полагаем, что справедливость и снисходительность – совсем не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенная в пользу очень милого нам лица или очень любезного нам порядка вещей, тогда как справедливость есть простой анализ факта, в связи с его историей и окружающей средой. Что же общего между ними?

Все сказанное мною выше делается еще более ясным для читателя, если он даст себе труд припомнить, по поводу чего обвиняются «мальчишки» в несправедливости, то есть в неснисходительности.

Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себе великое слово, но потому-то именно и следует пользоваться этим словом с осторожностью. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. К кому требуете справедливости? к самим себе!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудием всякого рода, вы, которые шагу не можете ступить без того, чтобы не допросить с пристрастием, чтобы не кинуть тени язвительного подозрения, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тех, которых вы, правильно или неправильно, считаете врагами вашего спокойствия! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтом, язык ваш источает яд клеветы, руки ваши сводятся судорогою – и вы хотите, чтобы к этому позорному зрелищу, чтобы к этой «хладной» ненависти, сделавшейся почти ремеслом, оставались равнодушными и даже оказывали дань уважения и снисходительности!

Милостивые государи! вы ссылаетесь на прежние ваши заслуги – никто у вас их и не отнимает! вы объясняете, что в вашем положении, при вашем воспитании, в силу вашего прошедшего... Никто против этого и не возражает! Вам говорят одно: если вы остановились в вашем развитии, если жизнь захлопнула перед вами свою книгу, если наплыв новых сил, новых стремлений составляет для вас загадку, которую вы разрешить не в силах, зачем же вы усиливаетесь разгадать ее? зачем вы, не успев в этом, обвиняете эти новые силы, новые стремления в противообщественности? зачем вам никогда не придет на мысль, что новые вещи кажутся вам дурными не потому, чтоб они в самом деле были дурны, а потому, что вы к ним не приготовлены, их не ожидали, их не понимаете?

Если бы вам хоть однажды, хоть ошибкою пришло это на мысль, вы сказали бы себе: не может же быть, чтобы целое поколение двигалось под влиянием одуряющего обмана чувств, не может же быть, чтобы в целом поколении не было инстинкта правды! И, сказавши себе это, вы, конечно, заглушили бы вопли ненависти, закипающие в сердцах ваших, вы стали бы в сторону и не загоразивали бы дороги молодому, потому только, что оно молодо и не может петь вам в тон?

Но нет, вы носитесь с вашим прошедшим, до которого никому уже нет дела, и, убедившись, что дела до вас действительно никто не имеет, вы озлобляетесь, вы всё забываете и ничему не научаетесь. Вы презрительно бросаете в глаза ваш безапелляционный приговор,

очень кстати припоминая, что на вашей стороне сила дня. Это последнее воспоминание, вместо того чтоб смутить и воздержатъ вас, вливает, напротив того, бодрость в ваши сердца, придает игривости и бойкости вашим изречениям и приговорам 1.

1 Недавно, например, случилось мне вычитать в одной убогой московской газетке такую характеристику «Современника», что в нем в настоящее время действуют одни эпигоны и что «даже так называемые нигилисты, побойчее, замолкли...» «Замолкли!» – слышите ли вы радость, которая сочится в этих словах прискорбного публициста! «Замолкли!» – но почему замолкли, любезный публицист? не известна ли вам причина этого молчания? Вот видите ли, прискорбный публицист отнюдь не желает стеснять себя в суждениях о нигилистах... даже замолкших, и в то же время вопиет о справедливости, выставляет на вид какое-то кощунство над современной историей, «над всем, что близко и дорого современному человеку!» Это совершенно особого рода логика, совершенно особого рода справедливость, в силу которой один может нахальствовать сколько душе угодно, а другой обязывается молчать, один может формулировать свои обвинения ясно, а другой не имеет права проводить свою мысль и под покровами! Я очень хорошо понимаю, о прискорбный публицист! что вы должны быть обрадованы молчанием «нигилистов побойчее». Вы размышляете в этом случае так: если уж от «эпигонов» мне больно достается, то до какой степени я был бы изогорчен, когда бы начали со мной считаться вожди и учителя! Это расчет очень верный и довольно успокоительный. Только жаль, что вы уж очень скромны: не назвали «нигилистов побойчее» по именам и не доложили вашим читателям о причине их молчания. Чего доброго, они ведь могут подумать, что это вы заставили их замолчать! Что же касается до названия «эпигонов», то и тут вы обнаруживаете скромность совершенно излишнюю. Эпигоны осаждали Фивы, следовательно, вам необходимо было бы, для ясности, растолковать, какие это именно Фивы осаждают «Современник». Может быть, это какие-нибудь недозволенные Фивы Подумайте только, какую вы благодарность можете получить от современников за подобное указание! благодарность, быть может, вящую той, которую уже вы получаете! А то ведь читатели могут подумать, что Фивы-то – вы и что «Современник» именно вас осаждает! Нет, он вас не осаждает. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Единственная справедливость, какая возможна в отношении к подобным явлениям, заключается в анализе их внутренней сущности и в постановке тех выводов, которые естественно из этого анализа вытекают. Что же касается до снисходительности, то, сознаюсь откровенно, я не могу себе взять в толк этого понятия. Кому нужна снисходительность, полезна ли для кого или для чего-нибудь снисходительность? Может ли она хоть на минуту затемнить справедливость, и притом так затемнить, чтобы совершенно заменить эту последнюю?

И еще говорите вы, милостивые государи, что нельзя же все вдруг, но кто же от вас и требует «всего вдруг»? «Мальчишки» ни «всего», ни «по малости» – ровно ничего не требуют просто потому, что требования и неуместны, и бесполезны.

Чтоб объяснить читателю, до какой степени могут быть неуместны требования, я вынужден привести один легкий пример.

Был у меня знакомый судья, не какой-нибудь высший судья, который безопасно сыплет себе приговорами направо и налево, а простой уездный судья, который все-таки иногда опасается, что секретарь губернского правления может самого его, судью, под суд отдать. Несмотря, однако ж, на эту опаску, судья этот обладал такую «непосредственную» смелостью, которая подчас приводила меня в изумление. И представьте себе, этот несчастный даже не подозревал, что он храбрейший из храбрых, что он храбрее даже маршала Бюжо, который некогда советовал Луи-Филиппу бомбардировать Париж (ах, если б я его послушался! – тосковал, сказывают, этот король в своем уединении), ибо Бюжо советовал бомбардировать только Париж, а мой судья постоянно бомбардировал... страшно сказать! – бомбардировал справедливость!

Философия его была очень простая. Обвинялся, например, Иван в том, что украл у Петра платок из кармана; против Ивана улики никаких нет; когда Петр шел по улице, то, хотя из кармана его пальто действительно торчал кончик красного фулярового платка, могший соблазнить чувствительную душу Ивана, и хотя Иван действительно проходил в это время мимо Петра, однако Иван платка не крал, и у Ивана платка не отыскано. Иван говорит, что когда он шел мимо Петра, то кончика платка, выходящего из кармана его пальто, не заметил, потому что весь поглощен был в ту минуту мыслью, как-то ему завтрашний день придется девятипудовые кули с барок таскать, да хорошо еще, если придется таскать, а то ведь, пожалуй, и с голоду лопнуть можно!

Мой судья рассматривает это дело (разумеется, рассматривает на прохладе, сидя у себя дома, в халате) и точно так же, как и я, и вы, и все мы, находит, что никаких улик против Ивана нет. Но его смущает мысль: если Иван действительно не совершил этого ужасного преступления, то с какой же стати оно взведено на него? с какой стати оно не взведено на Фому, на Якова, которые также, в минуту пропажи платка, находились поблизости от Петра? стало быть, Иван действительно дурной, способный к воровству человек? стало быть, если нет против него улик, то это не потому, чтобы их не было в действительности, а потому, что он сумел ловко схоронить концы в воду? И вот мой судья решает: хотя настоящих улик в покраже Иваном из кармана Петра шелкового красного платка и не обретаются, однако так как: а) платок не мог же исчезнуть сам собою; б) в минуту пропажи платка Иван проходил мимо Петра; в) в то же время поблизости Петра проходили Фома и Яков, на которых тем не менее подозрения не изъявлено, а изъявлено таковое именно на одного Ивана, – то признать сии улики несовершенными, а совокупность сих несовершенных улик – совершенным доказательством...

Спрашиваю я вас, милостивые государи, на каком рациональном основании знакомый мне судья, трусивший часто самого последнего столоначальника губернского правления, обладал в этом случае такую непосредственную храбрость? А просто обладал – да и все тут! Скажу более: он сам не сознавал, что обладает этою храбростью, ибо даже не понимал, в чем тут храбрость!

– Помилуйте, Кузьма Терентьич! – усовещиваешь, бывало, его, – как же можно этак с маху решать человека?

– Стану я ворам потакать!

– Да ведь закон, Кузьма Терентьич, закон!

– Стану я ворам потакать!

– Да ведь вы можете невинного погубить!

– Стану я ворам потакать!

И я уходил от Кузьмы Терентьича опечаленный. «Господи! – думал я, – вот и закон ведь есть, и гарантии всякие есть... что же это такое!» Да и то еще приходило мне в голову, что ведь и Кузьма-то Терентьич чудесный мальчик: мухи никогда не обидел! И долго бы проплакал я таким образом, если б не догадался наконец, что «тупая философия, косноязычна риторика... без грамматики!» Да, именно грамматики-то у нас и нет! – рассуждаю я в настоящее время и, верите ли, благосклонный мой читатель, чувствую себя обновленным и освеженным.

Желание справедливости и снисходительности сделалось столь насущною потребностью всех угнетенных, что им заразился даже поэт Фет. Помните ли вы г. Фета, читатель? того самого г. Фета, который некогда написал следующие прелестные стихи:

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,  
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайной,  
Перстам послушную волос златую прядь  
Из мыслей изгонять и снова призывать;

Дыша порывисто, один, никем не зримый,  
Досады и стыда румянами палимый,  
Искать хотя одной загадочной черты  
В словах, которые произносила ты,  
Шептать и поправлять былые выраженья  
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,  
И в опьянении, наперекор уму  
Заветным именем будить ночную тьму.

или:

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!  
Опять и опять я люблю тебя!  
Тихая, теплая!  
Серебром окаймленная!

Я совсем не шутя говорю, что эти стихи прелестны: по моему мнению, других подобных стихов современная русская литература не имеет. Ни в ком, решительно ни в ком не найдет читатель такого олимпийского безмятежия, такого лирического прекраснодушия. Видно, что душа поэта, несмотря на кажущуюся мятежность чувств, ее волнующих, все-таки безмятежна; видно, что поэта волнуют только подробности, вроде «коварного лепета», но что жизнь, в общем ее строе, кажется ему созданною для наслаждения и что он действительно наслаждается ею. Но увы! с тех пор как г. Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился! С тех пор упразднилось крепостное право, обнародованы новые начала судопроизводства и судоустройства, светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм и нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелия и расседины земные; остался один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы его

Из мыслей изгонять и снова призывать...

Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тиснения, отправляет в «Русский вестник». Нынешние романсы его уже не носят того характера светлой безмятежности, которым отличалась фетовская поэзия в крепостной период; напротив того, от них веет грустью, в них слышится вопль души по утраченном крепостном рае. Вот, например, последний романс г. Фета («Русский вестник», 1863 г., № 1):

Прежние звуки, с былым обаяньем  
Счастья и юной любви!  
Все, что сказалося в жизни страданьем,  
Пламенем жгучим пахнуло в крови!

Старые песни, знакомые звуки,  
Сон безотвязно больной!  
Точно из сумрака бледные руки

Призраков нежных манят за собой.

Пусть обливается жгучею кровью  
Сердце, а очи слезой!  
Доброю няней прильнув к изголовью,  
Старая песня, звучи надо мной!

Пой! не смущайся! Пусть время былое  
Яркой зарей расцветет!  
Может быть, сердце утихнет больное  
И, как дитя в колыбели, уснет.

Объяснение к этому стихотворению мы находим в статейке г. Фета «Из деревни», напечатанной в том же № «Русского вестника». Здесь г. Фет докладывает читателям, что времена наступили крутые и тяжкие, что равенства перед законом нет, что работники его, Василий и Семен, пользуются покровительством законов, а он, г. Фет, не пользуется, что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за Семеном 11 р., а Василью, к счастью, не было выдано задатка, а то точно так же чуть-чуть бы не пропал, что у него, г. Фета, потравили было пшеницу крестьянские гуси и что во всех этих беззакониях и беспорядках обвиняется литература, которая, вместо того чтобы «обсуживать» вопросы, только «судачит об них свысока».

Итак, г. Фет обижен и тоже кого-то обвиняет в несправедливости. Он хотел избежать этих несправедливостей, с этой целью спрятался в деревню – но увя! и там несправедливости его преследуют! Приходит почта и приносит журналы; г. Фет, разумеется, вскрывает их, и «ему делается вдруг и грустно, и смешно, и стыдно, и противно». Счастлив г. Фет, что может одновременно испытывать столько ощущений, да притом еще не выпускать из головы вечно присутствующую мысль (врожденная идея) о чуть-чуть не пропавших 11 руб., но посмотрим, что же такое возмущает г. Фета в русской литературе? Его возмущает, что литература («слава богу, – говорит он, – нет правила без исключения») считает «своим присяжным долгом отвечать на всякий вопрос: veto». Разумеется, его, как поэта, плавающего в эмпириях истины безотносительной, так сказать заоблачной, это детское veto только забавляет... что же его смущает, однако? Его смущает «приток этого veto – струя демократизма, в самом циническом значении этого слова». Извольте видеть, «это тот самый мотив, который в парижском театре для черни заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера огрызками яблок».

Извините, г. Фет, но мне просто «и грустно, и смешно, и стыдно, и противно» читать приведенные выше строки. Обвинять русскую литературу в демократизме в то время, когда она, с легкой руки того самого журнала, в котором вы произносите ваши укоризны, предлагает различные проекты самых невинных сближений и общений, просто несправедливо. Очевидно, что тут совсем не о том речь идет, совсем не о разделении царства на ся, а о сближении, милостивый государь, об общении! Быть может, вы скажете, что вы о той литературе, которая заботится об общении и к которой принадлежите сами, и не говорите, а говорите о другой... Но ведь и другая-то литература о чем же хлопочет? она хлопочет о равенстве, милостивый государь, не о мечтательном каком-нибудь равенстве, а о том равенстве перед законом, о котором хлопочете и вы. О каком же демократизме вы говорите? вспомните, что ведь мы не в диком государстве живем, где все можно говорить, что у нас тоже цензура есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчание... А то «демократизм»! где вы такое чудо видели? укажите же, где вы слышали тот «мотив, который заставляет блузников выгонять из партера чисто одетого человека»? дайте нам факты, милостивый государь, факты дайте нам, а

не наполняйте пустыню вашими воплями, не вливайте фиала желчи и горечи в наши груди, и без того уже исцарапанные когтями премудрых московских сов!

Вы говорите, что литература ко всем вопросам относится посредством: «помилуйте! к чему это? это вздор! это все пустяки!» Но ведь это смотря по тому, в чем состоит и какого свойства вопрос. Вот вы, например, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей, которых вам не отработал работник Семен, и что крестьянские гуси чуть-чуть не потравили вашей пшеницы, – ну, на это, пожалуй, я первый скажу: «помилуйте! к чему это! это вздор! все пустяки!» – но чтобы я сказал то же самое об изменениях паспортной системы и о других материях важных – это никак невозможно! И где вы это видели, где слышали, чтобы литература так легкомысленно относилась к важным материям? Быть может, литература сказала об них не то слово, какое бы вам хотелось от нее слышать, – ну, это другой резон! Так вы так и говорите: вот, дескать, как легкомысленно относится литература к паспортной системе, не понимает даже, что она должна существовать для успокоения землевладельцев!

Но, быть может, вы меня спросите, как же быть с теми 11 рублями, которых чуть-чуть было вы не лишились, и как поступить с теми гусями, которые чуть-чуть было не потравили вашей пшеницы? На это могу вам отвечать одно: ущерб ваш представляет одну из случайностей несовершенного сего мира, и вы об этом ущербе можете искать в подлежащих местах (что вы и сделали), литературе же нет никакого дела не только до 11 рублей, но даже если б у вас чуть-чуть не пропали и все 20 рублей, данные вами работнику Семену в задаток, ибо она разрабатывает общие вопросы жизни, а не четвертаковые. В настоящее время она может дать вам один совет: относительно гусей – брать их немедленно под арест и поднимать тот же гвалт, какой описан вами в статье вашей; относительно работника Семена – не давать ему вперед ни копейки в задаток. Извините, что считается невозможным советовать вам повесить Семена или содрать с него шкуру: этого делать нельзя, потому что за такой поступок вы можете отвечать перед начальством.

Наши собственные боли всегда кажутся нам больнее чужих, г. Фет. Положим, что у нас сделана порубка на 5 рублей; преступник пойман, сознался и наказан розгами. Но нам от этого не легче, потому что пять-то рублей, взятые из нашего, так сказать, карманного итога, все-таки не воротились туда; и вот мы начинаем волноваться, нам кажется, что преступника наказали мало, что его, по крайней мере, следовало бы... Но повесить все-таки нельзя, а также нельзя и шкуру с живого содрать, потому что за это можно отвечать перед начальством.

За всякое преступное действие полагается в законах свое определенное возмездие, г. Фет. Прежде, когда в нас самих заключался весь суд, мы устраивались легко, ибо задатков мы никому не давали, а гусей могли всех поголовно перерезать. Теперь одних обвинений с нашей стороны оказывается недостаточно, требуются еще доказательства; надо жаловаться на работника Семена посреднику, надо доказывать, что гуси действительно нас обидели, – вот мы и вопием о каком-то неравенстве перед законом! С кем неравенство? с гусями? Но представьте же себе, что вас в Москве обокрали, г. Фет, и что вы того вора изловили в тот самый момент, когда рука его шарилась в вашем кармане. Ведь вы не стали бы требовать, чтобы вам того вора позволено было зарезать вашими собственными руками? Ведь вас не ужаснула бы мысль, что на вора вам следует принести жалобу в полицию и затем спокойно ожидать дальнейшего удовлетворения? Но поверьте же, г. Фет, что все точно так же должно происходить и в том случае, о котором вы рассказываете в вашей статье, что это явление совсем не исключительное и что вас оно поражает потому только, что вы еще не привыкли, г. Фет, не привыкли!

Есть люди, которые обнаруживают необычайную твердость характера и верность каким-то принципам, особенно когда идет речь о мелочах. Иной садится за карты и говорит себе: не поставлю ни одного ремиза – и действительно не поставит! Мало того что не поставит, но еще, вышедши из-за карт, целый вечер только и твердит: сказал, что не поставлю, – и не поставил!

Такого-то рода твердостью характера и политической неуступчивостью обладает и г. Фет. Он сказал себе, что будет тверд в деле о потраве гусями его пшеницы, – и был тверд до конца!

Курица, у которой другая курица отняла хлебное зерно, конечно, воображает, что посредством оскорбления ее куриного интереса потрясены священнейшие общественные основы. И вот она клохчет; ей хочется, чтобы вся литература отнеслась к этому факту особенным каким-нибудь образом: все, дескать, прочее вздор, а вот вы об том посудите, как бы куриные интересы-то оградить, как бы такой закон издать, который бы обеспечивал вполне куриную собственность! Я понимаю беспокойство курицы, но вместе с тем понимаю и равнодушие к ней литературы!

Нет сомнения, что забота об ограждении своей собственности от расхищения есть дело весьма похвальное. Но ведь это дело касается наших личных хозяйственных распоряжений, это, наконец, дело общих судов, для всех равно доступных, и волноваться по этому случаю, призывать свидетелей и ссылаться на мнимое неравенство перед законом... право, это более нежели странно!

Вы говорите, г. Фет, что нет равенства перед законом; вы пристаёте к вашему мировому посреднику: «Вы наш общий судья; рабочий и я в двух данных случаях предстоим пред судом вашим в совершенно одинаковом положении. Считаете ли вы нас равноправными? Если считаете, то откуда являются две меры и двое весов?» Надо сказать правду, что вы ставите вопросы откровенно и не запутываете их, но потому-то именно, что вы очень откровенны, вы и изобличаете самих себя. Вы говорите, что если бы вам случилось не удовлетворить рабочего деньгами, то земская полиция не усумнилась бы описать у вас лошадь, корову, овцу, и все-таки удовлетворила бы рабочего. Хорошо, кабы вашими устами да мед пить, но поверьте, г. Фет, что чаще, гораздо чаще бывают случаи, что рабочие просто побьются, побьются, да и уйдут с пустыми руками. Не знаю, как это случается, но сильный человек и капиталист как-то по преимуществу пользуются полицейскими симпатиями – это верно. Мы каждый день видим примеры, как очень сильные фабриканты (до сих пор мы имеем право ссылаться лишь на эти примеры, потому что земледельческий вольный труд считает свою историю чуть ли не со вчерашнего дня) отпускают от себя рабочих с одним кратким, но сильным словом: поди ищи на мне! Я сам был неоднократно очевидцем, как рабочие приходили целыми толпами искать управы на фабрикантов, насчитывавших на них невероятные штрафы за прогул (принято за правило, что фабрикант – всегда исправный сын отечества, а рабочий – всегда пьяница)... и, разумеется, фабриканты всегда оказывались правыми! И после этого позволительно говорить, что есть какие-то две меры, какие-то двое весов! Но если б и это было точно так, как явствует из ваших рыданий, г. Фет, то есть что полиция всегда мирволит рабочему и всегда притесняет капиталиста, посудите сами, каким же образом оно и может быть иначе? Вы имеете и лошадь, и корову, и овцу, полиция видит это и описывает и продает их; работник Семен не имеет ни лошади, ни коровы, ни овцы – полиция не видит их, следовательно, не имеет возможности ни описать, ни продать их. Что ж ей делать? не зарезать же, в самом деле, Семена! Да если б она и «пустила» с Семена две шкуры, то этим, быть может, доставила бы только вам удовольствие, но убыток ваш все-таки не пополнила бы! Конечно, Семен пьяница, но представьте себе, с другой стороны, что не Семен, а вы – пьяница (извините меня, я это предположение отношу не к вам собственно, а вообще к антрепренерам и капиталистам, между которыми примеров подобного рода найдется, пожалуй, и немало); представьте себе, что вы наняли рабочих, которые очень усердно вам служат, а между тем сами немедленно закурили. На потребности этого куренья уходят не только лошадь, и корова, и овца, о которых вы говорите, но и все ваше имение; вы делаете долги и кутите с лоретками, а рабочие и не подозревают, что вы уж несостоятельный: они считают себя не вправе наблюдать за вашим поведением и думают только, что ведь у барина есть и лошадь, и корова, и овца... Как тогда поступить с вами? Писать ли в журналах, что вот, дескать, каким образом поступил г. Фет с своими рабочими, да и не то, как

поступил г. Фет, а вот, дескать, какое неравенство перед законом! Знаете ли что? я думаю, что все ваши сетования именно оттого происходят, что вы приступили к хозяйничанью не столько с знанием дела, сколько с твердою уверенностью, что при вас всегда будет находиться становой пристав, который будет разрешать немедленно все эти недоразумения. Иначе вы поняли бы, что всякий хозяин, всякий предприниматель, наряду с ожидаемыми от предприятия выгодами, рассчитывает и ожидаемые от него ущербы. Потому что ведь иначе вы и на град, и на засуху взъедитесь! будете говорить, зачем нет против них закона! Ну да, эта именно мысль и руководила вами, когда вы писали: «Идеал равенства именно и заключается в соблюдении полной справедливости среди возможного колебания отношений. Сегодня я нанимаю, завтра меня нанимают, и справедливость требует, чтобы я удовлетворял требованиям закона и в том, и в другом положении». Полно, так ли, г. Фет? может ли справедливость, понятие абсолютное, неколеблущееся, применяться к отношениям колеблющимся? Кроме того, что ведь это бессмыслица, что колеблющиеся отношения необходимо предполагают уступку (потому что являются человеческому суждению не изолированно, а в связи с другими, тоже колеблющимися отношениями), вспомните, что ведь ваша справедливость вся исчерпывается словом «вознаграждение ущерба», а я уже имел случай показать вам, как это может быть иногда трудно даже в материальном отношении! Вспомните и еще, что ваша фраза: «сегодня я нанимаю, а завтра меня нанимают» – есть только фраза, и больше ничего. Благородных людей сажают в тюрьму, но не нанимают!

Вообще мне кажется, что вы несколько завидуєте счастливым поселянам. Это неоднократно случалось и со мной, особливо когда едешь, бывало, темным осенним вечером по грязи и колоти, а на тебя так приветливо смотрят огоньки из «бедных, богом хранимых» хижин. Но зависть эта сейчас же унималась, как только я убеждался, что с этими огоньками соединяется понятие о лучине, о дыме и смраде, который при этом распространяется; и еще унималась зависть, когда я тут же встречал обоз и собственными глазами уверялся, что я все-таки сижу в более или менее покойном экипаже, а счастливый поселянин идет за своим возом пешком, да часто еще обязывается лично помогать своей испитой клячонке. Право, займитесь когда-нибудь подобными же размышлениями; это совсем не трудно, потому что здесь требуется только добросовестность и час-другой времени, требуется, одним словом, мысленно поставить себя на место счастливого поселянина. Вы это можете сделать с успехом, потому что обладаете хорошим художественным талантом.

И верьте, г. Фет, что этот совет дает вам не столько литератор, к которому (не ко мне собственно, а к собирательному имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельский хозяин, сам на практике испытавший всю горечь этого ремесла. Действительно, собственный интерес дороже всего на свете: как займешься им с надлежащим усердием, то кажется, что никто-то об нем не радит, никто-то ничего не делает, все-то пьянствуют или празднуют. Иногда, однако, раздумаешься. Будем приводить примеры практические, возьмем, например, пахоту. Известно вам, г. Фет, что один работник с сохой на исправной лошади, или с плугом на двух лошадях, должен вспахать в день полдесятины – это урок, и притом умеренный; известно вам также, что, работая с сохой или плугом, счастливый поселянин не просто гуляет и покрикивает на лошадей, но напрягает свои мышцы почти наравне с лошадыю. Но вам неизвестно, быть может, сколько верст проходит работник, гуляя таким образом: он проходит до 15 верст, напрягая свои мускулы самым усиленным образом и увязая притом в вязкой, только что вспаханной почве. Мало вам этого примера – возьмите навозницу, тем более что этот труд в понятиях сельских хозяев слывет чуть-чуть не увеселительным. Положим, что пашня ваша отстоит от скотного двора на версту; работник, за исключением всех отдыхов, работает в летний день 12–14 часов, следовательно, в исправном хозяйстве он должен оборотить в день туда и назад по малой мере десять раз, то есть наложить, привезти на место, сложить и раскидать там десять возов, полагая в каждом пудов около 25. Отсюда для работника проистекают следующие обязанности: а)

пройти пешком в день двадцать верст; б) вскинуть на каждый воз на высоте от 1 до 1 1/2 арш. до 25 пудов тяжести, итого 250 пудов, и в) таковое же количество пудов тяжести раскидать по полю. И все это исполнить за 30 к. сер. в сутки или, много-много, за 40. А косьба, а жнитво? как оценить эту мучительную работу? Слова нет, что работник все это должен сделать, что это его прямая обязанность, но согласитесь же, что в самой трудности этой обязанности есть... ну, хоть некоторое смягчающее обстоятельство. И вот в ту минуту, когда работник не довезет одного воза или не допашет полуаршина, мы говорим, что об нас никто не радит, что рабочие празднуют и только даром хлеб едят!

Быть может, вы возразите, что при таких размышлениях никакое сельское хозяйство не может идти. Ну да, этот вопрос я предоставляю вам разрешать, как угодно; я, собственно, настаиваю на том, что размышления, сейчас мною приведенные, не прийти не могут. И потому-то именно мне кажется, что удобно заниматься сельским хозяйством возможно только тому, кто в это дело может поместить свой собственный труд. Конечно, вы можете еще сказать, что помещичьи хозяйства – это, так сказать, ядро, житница и т. д. Ну да, я и этот вопрос вполне отдаю на ваше разрешение, а что и крестьянские хозяйства могут служить и ядром, и житницей – в этом вам служит порукою, например, Вятская губерния. В этом крае помещичьих хозяйств очень мало, а в некоторых уездах и совсем нет, – и представьте же себе, он не только снабжает хлебом целый беломорский край, но даже огромную пропорцию отпускает через архангельский порт за границу! И еще мне кажется, что если уж признавать постепенность за единственно разумное руководство в жизни, то необходимо признавать ее во всех видах и на всех степенях. А то ведь это странно: покуда идет речь об общем жизненном прогрессе, мы кричим: «Не все же вдруг – поймите!», а как только дело коснется наших личных выгод, подавай нам все вдруг! А вы подождите, г. Фет! может быть, оно как-нибудь там и устроится!

Но статья ваша так прелестна, что я решительно не могу расстаться с нею. Вы там говорите о каких-то «гнусных валяниях» (в ноги); действительно, мужик, из-за целкового гнусно валяющийся у вас в ногах, – картина свойства весьма возмутительного, однако нельзя же обвинять в ней одного валяющегося мужика. Это явление есть следствие тех самых колеблющихся отношений, о которых вы говорите, с тем лишь ограничением, что здесь колебание происходит какое-то странное... Одно, однако ж, несомненно, что если б не было колебаний, то и валяний не было бы. А то, согласитесь сами, что у вас выходит несколько странно: с одной стороны, судя по вашему описанию, не только все власти, но как будто даже все силы природы сговорились, чтобы мирволить мужику во что бы то ни стало, а с другой стороны, он все еще гнусно валяется... Для чего ж он валяется? Для того ли, что у него уж такой вкус, или для того, что он обстоятельствами к тому вынужден?

Но ведь и независимо от ожидаемого вами «равенства перед законом» представляется же возможность умерять силу валяний: все зависит от того, как поставит себя лицо, силу имеющее...

Некоторым из моих читателей быть может, покажется странным, что я в свою хронику общественной жизни привлекаю г. Фета. Г-н Фет, скажут мне, человек благодушный, простодушный и прекраснодушный: он сидит себе в деревне и описывает факты в том грубом внешнем виде, в каком они проходят перед простодушными его глазами, но не философствует, то есть не понимает ни причины, ни происхождения, ни существа фактов. Нет, милостивые государи, г. Фет философствует! коли хотите, он философствует словосочинительно, то есть берет фразы публицистов, сочувствующих его чуть-чуть не пропавшим 11 рублям, и потом склеивает их как попало, но все-таки он философствует. Он берет эти фразы по выбору, следовательно, размышляет. Он преисполнен тех же антипатий, которыми заражены и сочувствующие 11 рублям публицисты, и вообще не любит, чтобы кто-нибудь рассуждал не так, как он рассуждает. Это очень понятно, потому что в г. Фете еще не остыли старые привычки, которые,

как известно, давали россиянам жест вольный и речь свободную. Во всяком случае, это факт совсем не уединенный, но находящийся в тесной связи с общим настроением той частицы общества, которая присвоивает себе название «благонамеренной». Следовательно, это явление общественной жизни, явление, которое нельзя пропустить уже по тому одному, что оно доказывает, до какой степени могут быть тягучи некоторые плохие мысли: они заражают даже простодушных, благодушных и прекрасодушных поэтов.

Тем менее окажется возможным его пропустить, если мы примем в соображение, что оно прикасается еще и к другому порядку благонамеренных мечтаний: мечтаний о сближении и общении. Но так как г. Фет касается этого вопроса только с задней, так сказать, стороны и доказывает непрактичность упомянутых выше мечтаний лишь с точки зрения неразвитости грубых поселян, то я и оставлю здесь этого поэта, на грех себе сделавшегося публицистом. Это тем легче для меня сделать, что неразвитость грубых поселян – вещь давно всем известная, на доказательство которой потрачено немало пороха, помимо пороха г. Фета. Я, напротив того, буду говорить о сближении, как о вещи, изображаемой желательною, как о вещи, к которой, по мнению многих, следует стремиться, несмотря на неразвитость грубых поселян.

Обыкновенно понятие о «сближении» формулируется у нас таким образом: «Сблизимся! ты меня возлюби, а я с своей стороны постараюсь!» Если вы вникнете в смысл этих слов, то увидите, что это штука довольно легкая и что тут дело идет об одних целованиях, и ни о чем больше. Если не ошибаюсь, то мысль о сближении впервые зародилась у нас тотчас по упразднении крепостного права; в то время многие заметили за собой разные провинности и пожелали сблизиться. С тех пор мысль о сближении стала крепнуть и мужать и наконец возмужала до того, что перетревожила даже почтенное общество московских купцов, которое устами одного из своих представителей, г. Четверикова, на сих днях публично заявило, что сближение так сближение – что ж, мы готовы! «Мы тем более готовы, – мог бы прибавить г. Четвериков, – что на этот путь нам указывает само правительство, создавшее нас в одну общую комнату для обсуждения дорогих нашему сердцу интересов!»

Скажите на милость, отчего в других странах Европы люди живут себе смирно друг подле друга, делают каждый свое дело и не думают ни о сближении, ни об общении, мы же, русские, либо в зубы друг друга огорошить норовим, либо целоваться лезем? Или такова уж природа «славян могучего рода»? Или мы до того еще «непочатые родники», до того «широкие, неиспорченные натуры», что подлинно убеждены, что на сближения и общения можно взирать с точки зрения одних целований?

Как бы то ни было, но это достоверно, что российская журналистика внезапно наполнилась каким-то удивительным благоуханием любезности. Только и слышишь со всех сторон: «Сher ami!<sup>11</sup> поцелуй меня! сher ami! позабудем прошлое! сher ami! жить без тебя мне тошно-хонько!» На эту тему вздыхает и «Русский вестник» г. Каткова, и «День» г. Аксакова; одно «Наше время» посматривает как будто иронически, но тем никого не убеждает, а, напротив того, лишь навлекает на себя подозрение в равнодушии к славе отечества. Припомним, наконец, что на эту же тему вздыхало благородное и передовое тверское дворянское сословие, которое до того зарвалось на сем поприще, что чуть-чуть не отказалось за себя и за потомков от всяких дворянских прав, но в нынешнем году как будто спохватилось и поспешило исправить свое кратковременное заблуждение.

Источник этих общительно-примирительных стремлений заключается, как сказано выше, преимущественно в том, что большая часть из нас, играющих па верху той плотной массы, в пользу которой открываются ныне наши сердца, сознает за собой некоторые провинности (увлечения), а сверх того, и в том еще, что многие из нас до сих пор не могут уяснить себе свое положение с надлежащей отчетливостью. Вероятно, вам случалось, читатель,

---

<sup>11</sup> Друг мой!

встречать старых чиновников, уволенных или за штатом, или за возрастом, или, наконец, за тем, что порядков новых понимать не могут. Взгляд у этих чиновников влюбленный, походка кроткая и сентиментальная, вздохи глубокие, но выражающие не протест, а тихую покорность судьбе. Присутствие юных бюрократов, усвоивших себе всю глубину новых исходящих и входящих регистров, не волнует их, но приводит в кроткое умиление; они не говорят при виде их «щенки!», как говаривали прежде, когда были старые входящие и исходящие регистры, но, напротив того, благоговеют и ловят на лету слова мудрости, вылетающие бурным потоком из уст их... «Послужили бы мы! еще вот как послужили бы!» – ропщут они себе потихоньку... Подобно этим уволенным за возрастом чиновникам, и мы не прочь послужить и в этих видах поднимаемся на разные хитрости.

Живительный луч солнца ударил в наши головы, благоухающими ветрами весны пахнуло в наши лица. Отсюда зуд во всем теле, тот возбуждающий зуд, который с особенной настойчивостью сказывается в старческих организмах. Отсюда беспорядочные маханья руками, беспорядочные сованья во все стороны, беспорядочные жалобы и беспорядочные надежды. Где отыскать подновки для себя? где найти возрождения аппетита?

Отсюда наши учтивости, отсюда наши журнальные и не журнальные мечтания о сближениях и общениях, отсюда различные совещания и митинги.

– Я полагаю, милостивые государи, что «непочатые родники» должны быть призваны для того только, чтобы подать нам полезный совет! – ораторствует один.

– Bravo! bravo! – раздаются кругом сочувственные голоса.

– И затем, по исполнении этой обязанности, должны скрыться... немедленно! – продолжает оратор.

– Немедленно! немедленно!

– Говорю «немедленно», ибо дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить их собственным интересам, может отвлечь их от приличных их званию занятий...

И затем начинается длинный ряд соображений, излагается длинный ряд надежд и опасений, предлагается длинный ряд мероприятий. Оканчивается тем, что «главное, милостивые государи, в этом деле: строгость и скорость, но это – в будущем и как запасное средство, а покуда будем стараться!»

И с новою силою начинаются: «Сher ami! поцелуй меня! сher ami! позабудем прошлое!»

Что должны думать те, к которым обращаются подобные заигрыванья! Увы! они еще не приготовились к принятию желанного поцелуя, они не утерлись, не расправили щетины, не вычистили носов! Они не подозревают, что в наших сердцах действие любви проявляется внезапно и что, следовательно, нечего тут думать о чистке носов, когда любовь с электрическою быстротою пронизывает нас насквозь. Я даже не прочь от мысли, что они не подозревают и о существовании самых заигрываний...

Да, они не подозревают, несмотря на то что заигрыванья из области печатного слова мало-помалу переходят уже и в практику. Сладко и умилительно путешествовать в настоящую минуту по российским палестинам: нигде-то крика и гама, нигде-то ямской брани. Выедешь в поле – даже сердце не нарадуется.

– А ну-ка, братцы! как бог работать помогает (не работать, а работать – этого требуют правила общения)? – спрашивает какой-нибудь Сидор Сидорыч, а сам так-то веселенько хихикает.

– Рады стараться для вашего здоровья, Сидор Сидорыч! – отвечают «непочатые родники».

Шапочки снимают, вежливенько таково раскланиваются, однако сами ни с места.

– Что, видно, не спорится? или дерябнуть для куражу?

– Покорно благодарим на ласке, Сидор Сидорыч!

– Эй, водки сюда! только уж вы не оставьте, голубчики.

– Мы вашу ласку всегда помним, Сидор Сидорыч!

Приносят водку. «Непочатые родники» пьют и похваливают, Сидор Сидорыч пуще хихикает, потому что простосердечный лепет невинных детей природы не может не веселить его. Но водка кончилась, а «непочатые родники» ни с места; этого мало: по отвратительному, звериному своему обычаю, они начинают во все горло драть песни.

«Ах, пострели вас горой!» – думает Сидор Сидорыч, но, ежечасно помня о «сближении», выражает свою мысль так:

– Уж, видно, сегодня отдохнуть, голубчики?

«Непочатые родники» соглашаются и, дерябя, расходятся по домам, а Сидор Сидорыч, понуриив буйную головушку, возвращается домой. А дома не лучше; там идут толки о какой-то протухлой солонине, о каком-то кислом молоке, которых будто бы есть нельзя.

– Сегодня нам, Сидор Сидорыч, щи с солониной на обед подавали! – пристают «непочатые родники».

– На здоровье, голубчики, на здоровье!

– Только эту солонину нам теперича есть невозможно!

– А что, разве пахнет? А вы, друзья, кухарку за бока! хорошенько ее, мерзкую!

– Она отговаривается, что вы сами приказывали!

– И-и-и, какой грех! Лжет она, старая! А вы, друзья, в другой раз, как станет она говорить это, отнимите у ней ключ от погреба, да и распорядитесь по-своему!

И Сидор Сидорыч вновь уповает, вновь надеется, до такой степени надеется, что когда супруга его колко замечает ему: «Ну что! опять с подлецами литки пили?», то он не отвечает ей, а только возводит к небу глаза.

Не знаю, как вам, читатели, а мне кажется, что все эти опасения и надежды свидетельствуют о каком-то удивительном малодушии. Ну, скажите на милость, позволительно ли, например, хитрить насчет солонины? Так ли поступили древние римские сенаторы, когда варвар Бренн с мечом в руках ворвался в форум? Ссылались ли они облыжно на кухарку, отдавали ли ее на растерзание рассвирепевшему врагу? Нет, тут не было речи ни о солонине, ни об водке. Древние римляне, видя неизбежность факта, стоически разрезывали себе жилы, садились в теплые ванны и умирали. Если это и нелепость, то, по крайней мере, нелепость благообразная, грандиозная...

Итак, наши общительные мечтания покуда не привели на практике ни к какому результату: мы стоим сами по себе, а «непочатые родники» сами по себе. Я знаю, многие обвиняют в этом так называемых либералов: «Это, говорят, всё они натягивали, да теперь и сплетничают!» Однако это несправедливо, ибо если мы вспомним, что наши русские либералы, как и прочие, всегда питались мясом, а не мякиной, то невозможно сомневаться насчет того, куда они принадлежат своими наклонностями и привычками.

Вернее разрешает это дело г. Фет: он просто говорит, какое же может быть тут сближение, когда нет равенства перед законом? Но и эта сентенция, как мы видели, не вполне справедлива.

Еще вернее разрешает вопрос, за славянофилов, единственный представитель славянофильства, оставшийся в живых, И. С. Аксаков. Он прямо обвиняет во всем общество. Он укоряет общество в недостатке энергии и совершенной мертвенности, он укоряет общество во лжи, он укоряет общество в том, что оно православных церквей в западных губерниях не строит. Смотрите, говорит он, правительство вынуждено было наградить г. Четверикова Владимиром 4-й степени за его пожертвование в пользу православных церквей! Православие... и орден! какой горький урок! какое сопоставление! Напрасно вы горячитесь, пишет ему в ответ г. Батюшков, если вы имеете право приносить посильную благодарность лицу, оказавшему вам услугу, то отчего не может иметь такое же право правительство? – Да вы меня не так поняли! – отвечает И. С. Аксаков.

Но тем не менее мысль, что во всем виновато «общество», очень хорошая мысль. Жаль только, что Иван Сергеевич недостаточно вразумительно объясняет своим почитателям значение таинственного слова «общество», а это, по моему мнению, оттого происходит, что он вообще действует как-то не прямо, а больше посредством фигур и уподоблений. Всё-то и выходит у него какое-то величественное дерево, которое верхушкой упирается в небо, а корнями высасывает из земли соки. Дерево это прообразует общество, верхушка – вероятно, разную такую устроительную выпренность (земский собор), сосущие корни – вероятно, прозорливость, а земля... земля-то что означает?

Признаюсь, я видал на своем веку довольно таких деревьев, но они меня очень мало соблазняли. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что они берут из земли соки затем только, чтобы, напившись вдоволь, вести с небом разговор о разных душеспасительных материях. Неблагодарные, находясь столь близко от светозарного Феба, совершенно забывают о земле-кормилице и думают, что в таком важном соседстве им следует заниматься интересами высокими, так сказать, небесными, а не теми, которые копошатся где-то там, в земле...

Но допустим, наконец, что все эти мечтания совершились в очию, что у нас есть дерево-общество, которое вершиной упирается в небо, а корнями в землю, – что выйдет из этого? Боюсь сказать, но думаю, что из этого выйдет новый манер питания соками земли – и ничего больше. Твердят нам, что нынешнее русское дерево-общество виновато тем, что оно корнями своими не упирается в землю, что корни эти находятся где-то на воздухе... гм... да ведь это, право, было бы еще не так дурно! ведь это просто означало бы, что общество живет и ничего лишнего не берет! Похвально.

Но увь! всякое дерево, хотя бы оно корнями и в земле стояло, все-таки растет, и по мере того, как оно растет, горизонт, перед ним открывающийся, делается все шире, а горизонт земли остается все тот же маленький, узенький, низенький. Ремесло общества-дерева – мыслить, комбинировать, чувствовать, воображать, стремиться, ремесло земли – быть погруженной в одни материальные интересы. Для первого – науки и искусства, для второй – заботы об удовлетворении грубых потребностей жизни; первое, с помощью науки, очистило себя от предрассудков, вторая – вся лежит в предрассудках. О чем они будут беседовать друг с другом и как будут друг друга понимать? Не ясно ли, что, вооружаясь против современного русского общества, вы на место его хотите создать нечто такое, что совершенно подобно ему и что не только не разрешает дела, но даже как будто запутывает его, ибо нагромождает над землею новую тяжесть, совершенно излишнюю?

Если вы действительно хлопчете о земле, то для вас это будет ясно. Но это вам только так кажется, что вы хлопчете о земле, да притом еще об русской земле. В сущности, вы проповедуете ту же самую политическую теорию, которая давным-давно процветает на Западе: ведь и там существует земля, и там произрастают на земле деревья. Чем же вы отличаетесь от тех, которых называете «западниками»? Или, в самом деле, только тем, что история, писанная Мстиславами Удалыми и Иоаннами Грозными, милее для вас, нежели история, писанная лейб-гвардии Преображенским полком? Да ведь это ваш каприз. А вы полюбите историю, писанную преображенцами, и возненавидьте историю, писанную Мстиславами, – все это в ваших руках.

Ко всем вашим мечтаниям о сближениях вы подмешиваете политического элемента – и это вас спутывает. Не одним западникам, но и вам политическая триада кажется чем-то вроде очарованного круга, за черту которого невозможно перейти; не одни западники, но и вы предаетесь сухоте от забот об устройстве какой-то неестественной комбинации, которая обеспечивала бы... что обеспечивала бы? обеспечивала бы всё ту же самую сущность, против которой вы, по-видимому, сами ратуете. И потому, как вы ни стараетесь придумать что-нибудь народное, вы все-таки вращаетесь в том же круге, в котором вращаются и оппоненты ваши, перетираете те же идеи, которые давным-давно уже перетерты другими, до того перетерты, что даже приготавливаются к сдаче в архив.

Мне кажется, вы были бы гораздо ближе к истине, если б отказались навсегда от политических утопий и перенесли вопрос на другую почву. В самом деле, ведь весь вопрос состоит в том, как бы устроить сближение таким образом, чтобы этому не мешали ни образование, ни необразование, ни различие способностей, ни другие случайности...

Каким бы образом так сделать, чтобы образованный г. Фет был равен перед законом с необразованным работником Семеном? чтобы, с одной стороны, г. Фет не рисковал 11 рублями, а, с другой стороны, работник Семен не предавался гнусным валяниям?

Каким бы образом так сделать, чтобы высокий поэтический талант г. Фета не нарушал равновесия в ущерб высокому земледельческому таланту работника Василия? Чтобы, с одной стороны, г. Фет мог сказать Василию-работнику: я услаждаю твой слух песнями, а, с другой стороны, Василий-работник мог отвечать: а я услаждаю твой желудок возвращенными мною произведениями земли?

Квиты они будут или не квиты?

Увы! мне, бедному ремесленнику-фельетонисту, не дано разрешать столь важных вопросов, хоть я и знаю, что Н. Ф. Павлов обвинит меня за мое умолчание, точно так же как обвинил недавно одного из сотрудников «Современника» за то, что тот в своей статье, написанной по поводу Прудона, ухитрился не назвать этого публициста по имени. «Что вы боитесь? – писал по этому случаю г. Павлов, – называйте Прудона – ведь это имя в русской литературе не тайна». Ну да, конечно, не тайна, а все-таки как-то жутко. Ведь если его назвать, так, пожалуй, могут сказать: «Нет, милостивый государь, вы не так отзываетесь о Прудоне, как русскому публицисту надлежит!» А как не назовешь-то, так если и пристанет какой-нибудь наян с такими внушениями, можно ему ответить: «Да что вы! перекреститесь! да когда же я о Прудоне говорил!» Ну, и отстанет... А вот я уже соберусь с силами да укреплюсь намерением обругать хорошенько Прудона: уж и просклоняю же я его в ту пору!

П. М. Садовский в Петербурге. На днях приехал к нам из Москвы актер Садовский и уже несколько раз играл на сцене Александринского театра. Спектакли, в которых участвует знаменитый артист, всегда привлекают в театр целую толпу зрителей, да оно весьма и естественно, потому что Садовский, без всякого спора, есть величайший из современных русских актеров. До настоящего времени он появлялся на сцене в следующих пьесах: «Грех да беда на кого не живут», «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся» (все три пьесы Островского), «Женитьба» Гоголя и «Испорченная жизнь» г. Чернышева.

## <IV. Май 1863 года>

Кислое время, кислая жизнь. Сидишь себе в кабинете, следишь за журналами и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она девалась, эта жизнь? Остановилась она или просачивается где-нибудь, просачивается, быть может, безвестно где-нибудь и близко нас, как просачиваются в болоте ключи, из которых потом образуется хорошая, веселая и многоводная река... Да; может быть, она и трепещет где-нибудь, эта новая, желанная жизнь, да мы-то ее не чувствуем, – отчего ж мы не чувствуем?

Но прежде нежели разрешить вопрос, остановилась ли жизнь, или где-нибудь она скрывается, но все-таки работает свою бесконечную работу, необходимо объяснить себе, о какой именно жизни мы говорим и существовала ли когда-нибудь для нас эта жизнь.

Жизнь проявляется в обществе в двоякой форме. Есть жизнь всеми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазах всех, и есть жизнь не признанная, но ищущая этого признания неотступно, жизнь темная, погруженная в подземную работу и ценою величайших жертв и усилий подготовляющая материал для жизни признанной. Положение первой очень удобное: просто хоть не умирай. Пути себе она прокладывает по усмотрению, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрению, одним словом, устраивает свой комфорт, как ей хочется. Для нее, собственно, даже и в путях-то новых нет надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась в нем со всеми удобствами; потому что неудобства, происходящие от старых, рутинных путей, которым она следует, падают всю свою тяжесть не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не может, на ту, которая работает да работает себе за кулисами. И потому эта веселая, мирно текущая жизнь, всеконечно, и удовлетворилась бы, и успокоилась бы, и уснула бы, если б, с одной стороны, в ней самой не ощущалась некоторая потребность обновления и если б, с другой стороны, тайная, закулисная жизнь не подталкивала ее, не выбрасывала из себя на поверхность новых материалов, которых невозможно проглотить не разжевавши, ибо подавишься.

Первое, то есть потребность обновления, я толкую себе таким образом. Предположим, читатель, что мы с вами... ну, что бы? ну, предположим, что мы откупщики (по прежнему созерцанию, это высшее мерило благополучия). Народу мы спаиваем множество и казны можем тратить несчетное число; есть у нас и на Английской набережной палаццо, и в Москве русская изба в испанском вкусе; есть у нас и еда прекрасная, и пойло пьяное, и одежды золототканые – чем бы, казалось, не жизнь? Роскошествуй себе дома, спаивай народ, выписывай из Парижа лореток и совершенствуй свой домашний комфорт – вот все, к чему обязывается это изнеженное дитя полугара: кто ж бы не захотел себе такой жизни и кто же, получивши ее, пожелал бы из нее выйти? Но, увы! как ни сладко подобное существование, а одно оно не удовлетворяет. На это есть множество совершенно убедительных причин.

Укажу на две главнейшие.

Первая причина заключается в том, что человек, каков бы он ни был, не довольствуется однообразными ощущениями. Вот, по-видимому, он и сыт и пьян, и наплясался и напелся – слава богу, пора бы и спать! однако нет: есть нечто такое, что говорит ему о другого рода наслаждениях; из груди его вырывается стон, в воображении проносятся все эти будничные, в одну форму вылитые физиономии Сивушниковых, Лампурдосов, Иоселей и пр., и, о вей мир... как ему делается тоскливо и тошно! И вот он вздыхает, он делается сентиментален, как институтка (откупщик-то!), он садится у окна и любуется на луну. Все его занимает в эту минуту: и то, есть ли на луне жители, и то, что на луну то и дело набегают облака, одни почти прозрачные, словно дым, другие плотные. Что такое луна? Неужели и там живут мужички, неужели и там заведены откупщики? Нет, если уж существуют на луне жители, то они должны ходить в белых

платящих и с серебряными крылышками. Потому что, ведь согласитесь сами, нельзя же, чтобы нигде не было отбоя от Шлемов и Бестионаки, нельзя же, чтобы эти законопротивные физиономии преследовали и в сем и в будущем мире! Почему нельзя – он этого не объясняет себе, но в эту минуту ему положительно кажется, что есть какой-то другой мир, вовсе не похожий на тот, исполненный любовных паров, в котором он живет постоянно. И вот душа его малопомалу растворяется; от луны его мысль переходит к туману, нависшему над рекой: в этом тумане рисуются легкие, воздушные видения; от тумана переходит к реке, от реки к тем убогим, богом хранимым хижинам, которые виднеются вдаль, – и отовсюду-то дышит на него какую-то непривычную свежесть, со всех-то сторон заливают его сердце новые ощущения!.. Одним словом, нет того заскорузлого, огнепостоянного откупщика, который по временам не делался бы самою мечтательною институткой, которого сердце не поддавалось бы самым ребяческим впечатлениям. Если рассуждать хладнокровно, то для нас с вами (не забудьте, что мы откупщики) такие порывания в область неизвестного, не имеющего ничего общего с нашею обычною действительностью, очень невыгодны, потому что каждый шаг, который мы делаем, чтобы выйти из нашей раковины, вносит в нашу деятельность бесполезные и растлевающие элементы, делает нас менее устойчивыми и не столь способными к систематическому спаиванию мужичков, но в том-то и дело, что эти порывания рождаются в нас помимо нас самих и что овладеть ими мы столь же мало властны, как и овладеть всякими другими, менее сложными потребностями нашего человеческого организма.

Но, независимо от этого фаталистического условия нашей жизни, есть и вторая причина, препятствующая нам, откупщикам, слишком исключительно замыкаться в тех крепких стенах, где заключается наше благополучие. Причина эта заключается в том, что мы очень уж разбаловались, что наши обычные (высшие) наслаждения уязвляют нас недостаточно. Душно нам в наших дворцах и русских избах на испанский манер, не веселят взоров картины, изображающие нагих женщин, не ласкают вкуса ни пряные яства, ни пьяные питья: все хочется чего-то такого, чтобы, так сказать, душу на сторону своротило, рот обметало, грудь покрыло ссадинами, поясницу отшибло. Где искать таких пряностей? где, как не в тех необычных (низших) наслаждениях, которые свойственны так называемым курицыным детям? И вот мы прикидываемся мужичками, начинаем обзывать всех братцами, насильственно вгрызаемся в непривычную нам жизненную колею... Все это мы производим единственно из одного баловства, из того только, что вот скучно пить чай в палатке, отправимся-ка сегодня с самоваром в рощу! между тем это обстоятельство незаметно вносит в нашу жизнь пагубное начало и приближает к ней чуждые ей стихии, которые, по всем указаниям рассудка, следовало бы держать как можно в большем отдалении.

Вот видите ли, читатель, как все происходит естественно и как мы, откупщики, сами того не подозревая, помаленьку отравляем свою жизнь. По-видимому, эта жизнь течет спокойно, весело и обеспеченно, однако ж мы всё чего-то боимся; нас ежеминутно тревожит вопрос: а что, если веселое содержание жизни исчерпается, а что, если она утонет в мелочах, изотрется в своем собственном веселом ничтожестве! И вот, чтоб этого не случилось, чтобы нам не сесть нечаянно на мель и навсегда обеспечить свое будущее от угрожающей ему пустоты, мы начинаем думать об обновлении и, как люди предусмотрительные, разумеется, начинаем думать тогда, когда от прежнего нашего великолепия остаются уже одни скорлупы.

Мы вообразили себя откупщиками, но, быть может, это предположение не довольно язвительно, и потому вообразим себя... ну, хоть турецкими султанами. Я, турецкий султан, очень хорошо понимаю, что действительный султанский мой интерес заключается не столько в том, чтобы содержать мои владения в чистоте и опрятности, сколько в том, чтобы этого можно было достигнуть со всевозможными прохладами и льготами. С этой точки зрения для меня выгоднее иметь владения малые, в которых воля моя, как весенний разлив реки, могла бы затоплять все и всех, нежели владения обширные, но в которых воля моя на каждом шагу встречала бы

преткновения. Я владею прекрасными поемными местами в Азии и Африке; я мог бы жить там скромно, но сытно и счастливо, и благословлять судьбу свою; однако, на мое горе, у меня есть еще бесплодные (для меня) скалы в Европе, преимущественно населенные гяурами, которые так вот и лезут со мной на ножи. Что я сделаю? удалюсь ли в Азию, чтобы там, среди тишины и непрекословия, пецись о благе правоверных, или же останусь в Европе, чтобы скончать свой живот среди терзаний и огорчений, причиняемых мне любезными подданными гяурами. Если бы я слушался единственно внушений моих султанских инстинктов, я давно бы удрал в Азию (недаром же там и рай, по преданию, находился!), но в том-то и штука, что у меня есть память, подсказывающая мне, что было когда-то Магометово оружие, которое всех этих собак-гяуров покорило, что у меня есть самолюбие, которое так и шепчет: поревнуй да поревнуй! что у меня есть, кроме того, диван (конечно, членов его я могу перевешать!), который начинает меня науськивать, как только видит, что я слишком распускаюсь, и начинает меня стыдить, как только я целым рядом логических умозаключений прихожу к убеждению, что всякий стыд есть фальшь, и ничего больше. И вот таким-то образом я и маюсь целую жизнь; душой витаю на берегах Тигра и Евфрата, а телом нахожусь среди бесплодных скал, откуда ежечасно угрожают мне собаки-гяуры. Знаю, что все-таки придется мне удирать в Азию, но такова уже судьба моя: я перееду туда в то время, когда и тамошние поемные луга превратятся в скалы...

Я полагаю, что этих примеров совершенно достаточно, чтобы объяснить, каким образом происходит процесс обновления даже в тех сферах жизни, которые сами по себе никакой необходимости в обновлении не чувствуют. А так как я именно об этой-то жизни и говорю (почему только об этой, объяснено будет ниже), то посмотрим теперь, существовала ли у нас такая жизнь, а если существовала, то почему нам кажется иногда, будто она остановилась.

Лет шесть тому назад началось у нас какое-то движение, которое многие умы преисполнило гордынею великою, многие сердца заставило трепетать радостью необычною. Откуда шло это движение, что оно в себе содержало, чем обуславливалось, куда направлялось – об этом мы не спрашивали себя; мы видели только, что нечто шевелилось, и благодарили создателя. Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей, нисколько не изменявшее сущности главного дела, но кто же знает? быть может, именно этот-то мелочной характер обновления и составлял тайную причину нашей радости; по крайней мере, так можно догадываться из того, что к этому движению симпатически относились не только те, которые, подобно г. Громеке, предварительно разделивши все движения на неподозрительные и подозрительные, отдаются первым со всею пламенностью, а последними не увлекаются, но и те, которые на всякого рода движения поглядывают вообще неблагоприятно. В нем именно то и удобно было, что оно ничего не подкапывало, а только украшало. Вопросы представлялись не в системе, а вразбивку, не в виде органических отделений, которых не принять к рассмотрению и не разрешить нельзя, а в виде отрывочных тезисов, которые можно принять или не принять к сведению – ни от того, ни от другого беды не будет.

Понятно, что на первых порах всякий самый маленький смертный спешил заявить, что и у него имеется на примете маленький вопросец, который, в числе прочих маленьких вопросцев, своим разрешением весь этот вертоград утвердить и изукрасить может, и что таким образом вопросов должно было вдруг накопиться множество. А так как все они возникали перед нами неожиданно, в виде благоснисходительной милости или в виде манны небесной, то понятно также, что и увлечение ими, с непривычки, не должно было оставить в нас ни одного живого места, не уязвленного признательностью. О широких и далеких перспективах мы не имели никакого понятия, да и не чувствовали никакой в них потребности, во-первых, потому, что не сознавали связи, которая существует между большими перспективами и малыми, а во-вторых, и просто потому, что «будет с нас и этого».

Да, это было хорошее время; это было время поголовных, сплошных радостей. Угрюмый крепостник выходил из своей угрюмости в надежде, что его ждет впереди вопрос об устройстве

поземельного кредита, обещанного В. П. Безобразовым, и что этот вопрос спасет его; обиженный полицией забывал нанесенную ему обиду во имя того, что вот еще потерпеть немножко, и все пойдет как по маслу; а там примутся за суды, а там пойдут школы, пути сообщения, развитие промышленности... «В какую сторону ни обернемся, на какой предмет ни направим взоры, – говорили мы, – везде возникают и развиваются перед нами в даль неизмеримую ряды вопросов; везде надежды на богатую когда-то жатву из бросаемых теперь в землю семян»...

И вдруг мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сделалась ровною и гладкою, как зеркало; по-видимому, возможность ставить вопросы не прекратилась, по-видимому, они и ставятся от времени до времени, а общество ни гугу, словно оцепенело, словно обуялось преднамеренною, озорною бесчувственностью. Разве изредка благодарно свистнет г. Громека да пропоют признательный куплет «Московские ведомости», предварительно переглянувшись с «Нашим временем»... Значит ли это, что общество шесть лет тому назад жило? значит ли, что оно до такой степени неустойчиво, что не может вынести даже такого короткого периода жизни, что оно равнодушно и малопринзательно, потому что мертво?

Нет, это просто значит, что шесть лет тому назад, точно так же как и теперь, наше общество, относительно жизни, пребывало совершенно в одинаковом положении, что оно не имеет даже права сказать, что жизнь остановилась, потому что ее в строгом смысле и не было. Споры, когда они оканчиваются только спорами, крики, когда они имеют в виду только производство криков, – все это искусство для искусства, все это не что иное, как особенный род одинокого самоуслаждения, которое не имеет другого результата, кроме бесплодного истощения сил. Я говорю целый день, я спорю и выхожу из себя, но вот день кончился, я запираюсь дома и ложусь спать. Прошел мнимый день и унес за собою мнимую деятельность... из-за чего тут хлопотать? из-за чего напрягать свои силы?

Вопрос разрешается просто: до тех пор, пока я заблуждался, пока думал, что есть какое-то дело, касающееся меня лично, я увлекался этим делом, я беседовал об нем с приятелями и старался, насколько это от меня зависело, расширить сферу этого дела, захватить посредством его как можно больше жизненных вопросов; но как скоро я убедился, что действую в пустоте, что деятельность моя не выходит за пределы разговоров с приятелями, что мы не только не доходим до какого-либо практического результата, но даже стовориться между собой не можем, что мы бесплодно сходимся и столь же бесплодно расходимся, я разочаровался и сделался хладен к «развертывающимся в неизмеримую даль рядам вопросов». И если теперешнее мое разочарование доказывает отсутствие жизни, то и недавние очарования мои отнюдь не доказывали присутствия ее. Все это было мнимое: картонные разговоры, картонные вопросы, картонные интересы, картонная жизнь.

Да, это явление горькое, почти невероятное.

Но если спросят меня, что я предпочитаю: теперешнее ли общество, погруженное в совершенное равнодушие к обещаниям жизни, ни о чем не мечтающее, ни к чему тревожно не стремящееся, или недавнее русское общество, исполненное любово-страстно-идиллических мечтаний о внезапном водворении правды на земле и стремившееся возродиться посредством искоренения чиновнических злоупотреблений, то я не обвиняю отдам предпочтение первому. Есть что-то умиротворяющее в этом спокойствии; глаза слипаются сами собою, в ушах раздается расслабляющий звон. Точно вот плывешь по широкой реке и вдруг выбиваешься из сил: мало-помалу начинают захлестывать волны, сознание постепенно ослабевает, и хотя руки и ноги еще работают, но эта работа есть только последнее усилие остывающей жизни; еще минута – и эти последние усилия прекратятся, наступит спокойствие... Хорошо это спокойствие и само по себе, но в особенности оно хорошо тем, что издали кажется чем-то гордым; как будто бы человек говорит: вы не думайте, чтоб я не мог бороться, а вот могу, да не хочу...

Тем не менее я должен оговориться, что это дело моего личного вкуса, если я отдаю предпочтение разочарованию перед очарованием, равнодушию перед увлечениями. Есть другие, которые, напротив того, утверждают, что шесть лет тому назад все-таки жилось веселее. Как ни мелки были вопросы, говорят они, как ни поверхностно мы за них принимались, как ни мизерны были добываемые ими результаты, а все же нечто было. Был шум, был говор, была суетня. Все равно как мельница, на которую давно помольцы не везут никакого мелева и которой хозяин думает: а ну-ко, пушу я снасть, пускай себе ходит жернов и без мелева! И вот пошел стучать жернов, пошло ходить колесо; окрестность становится как-то веселее, кругом раздаётся шум и стук, как будто кто-то хлопочет, как будто что-то живет... А кому охота справляться, что тут делается? Напротив того, всякий думает: куда хорошо в таком месте пожить; и речка таково сладко журчит, и меленка мелет – все как будто не один, а на людях!

Вот как говорят защитники нашего начинавшегося молодого возрождения, и я должен сознаться, что, с точки зрения мельницы, в этом рассуждении есть своя доля справедливости. Тем не менее оно отнюдь не подрывает моей мысли об отсутствии жизни, ибо работа жернова, мелющего без мелева, есть все-таки работа праздная. Подобная работа все равно что театральная декорация: унесут, и нет ее; был лес – на место леса комната, на место комнаты ад, – все это дело балетмейстерской фантазии. Но не надобно, однако ж, упускать при этом из вида одно важное обстоятельство: декорации от частого употребления линяют и приходят в негодность; жернова от беспрестанного трения измалываются и требуют перемены. Хорошо, коли есть неистощимый запас новых жерновов, посредством которых можно без конца подделываться под жизнь, но худо, коли этого запаса нет, да притом еще, как на грех, вдруг и взаправду подоспеет настоящее, не картонное мелево...

Что такого неистощимого запаса нет, это доказывается тем, что жернова перестали стучать сами собой, без всякой принудительной причины, а вслед за жерновами

...умолкли ручейки  
И улеглись стада...

Даже такая сильная литературная мельница, как «Русский вестник», – и та перестала размалывать вопросы вроде вопроса о китайских ассигнациях, и та предпочла малое, неогорчительное безделье заманчивой, но ни к чему не ведущей резвости.

Я знаю многих из ратоборцев того веселого времени и с удовольствием должен сказать, что они сами весьма мало огорчаются словесною засухой, наступившею после недавних проливных дождей. «Mon cher! – говорят они мне, – неужели же вы когда-нибудь могли подумать, что мы ратоборствовали серьезно? Нет, мы хотели только доказать, что способны к ратоборству, и как скоро убедили в этом кого следует, то умолкли». Слыша такие слова, я прихожу к заключению, что все эти ратоборцы были просто благонамеренные люди, всегда любившие отечество, но не имевшие средств поместить надлежащим образом эту любовь на служебном поприще. Весьма естественно, что это их огорчало; но весьма естественно и то, что они старались заявить об этом огорчении, – не в форме огорчения, конечно (это было бы уж слишком наивно!), – а в форме дозволенных словесных упражнений на никогда не стареющую тему о любви к отечеству. Устроивши это самым ловким и незаметным образом, они получили соответствующие по службе повышения и, само собой разумеется, предпочитают теперь крепкое, практическое дело, имеющее корни в прошедшем («токмо коренью» и т. д., см. эпиграф к «Русской беседе»), всевозможным словоизвержениям резвой юности.

Не могу не одобрить такого образа действия, прежде всего потому, что и с точки зрения национальности он безукоризнен. Вообще наша история представляет мало примеров героизма и самоотвержения. Только Мстислав Удалой когда-то поревновал в пользу земли Русской, да Минин... да и тот не принадлежал к так называемому «обществу» (на языке славянофилов

«société»), а был простой мещанин. Но в большинстве случаев, предпринимая какое-нибудь дело, мы прежде всего умильно посматриваем на печку, и как только влезем на нее, так тотчас и начинаем говорить: «Трудно! да, трудно! вот я и сам, топ cher, как внизу-то стоял, так думал, что оно легко, а теперь вижу, что точно...» И пойдут это у нас умные речи о том, как оно легко критиковать да оуждать и как, напротив того, трудно организовать и приводить к наилучшему концу. Ну, да и ништо нам! благо до печки-то дорвались!

Таким образом, и с национальной точки зрения делается ясным, что то, что мы принимали за признак пробуждения жизни, в сущности заключало в себе не более как похвальные усилия некоторых благонамеренных личностей, наскучивших служебным застоєм и пожелавших, при помощи примерных турниров, получить соответствующие их способностям повышения. Одним словом, тут шла речь не о пробуждении, не о торжестве идеи, а о том, что не слишком ли засиделся на своем месте Максим Максимыч (доказывалось, что не только «слишком», но даже и самое место прогноил) и не пора ли, дескать, его сверзить, а на его место засесть самим...

Все это так просто, так просто, что даже моя добрая знакомая, мадам Антонова, долгое время взиравшая на поднывающую у нас словесную суматоху с некоторым остолбенением, – и та наконец поняла и, понявши, воскликнула: «Ну да, ну да! вот это хорошо! вот на это я согласна!»

Но если жизнь признанная заявляет себя вяло, если в ней прогресс является результатом случайного, механического нарастания, которое может продолжаться, но может и прекратиться, если, вследствие такой своей обстановки, эта жизнь утрачивает свои права на значение руководящей силы, то должна же быть где-нибудь другая сила, другая жизнь, которая не изнашивает так скоро созревших в ее недрах запросов, но, напротив того, с неумолимою логикой проводит их до конца.

Да, эта сила есть; но как поименовать ее таким образом, чтобы читатель не ошетинился, не назвал меня волтерианцем или другим бранным именем и не заподозрил в утопизме? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм.

Вникните в смысл этой реформы, взвесьте ее подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убедитесь: во-первых, что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу и, во-вторых, что, несмотря на неблагоприятные условия, она успела положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой.

Это та самая сила, которая ничего не начинает без толку и без нужды, это та сила, которая всякое начинание свое делает плодотворным, претворяет в плоть и кровь. Ревновали Владимиры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Иоанны Грозные и не грозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали – и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первом же случае оказывалось дряблым и несостоятельным («Что такое это оно?» – спросит читатель. «А я почему знаю!» – отвечаю я). А вот поревновал однажды Кузьма Минин-Сухорук – и сделал. Неужели же это Минин сделал? И как он сюда попал? Как не затонул в общей засасывающей пучине? Нет, это не Минин сделал, а сделала сила, которая выбросила его из пучины, выбросила не спросясь никого, выбросила потому, что бывают такие минуты в истории, что самые неизмеримые хляби разверзаются сами собой.

Я знаю, читатель, что ты думаешь. Ты думаешь, что я вот-вот сейчас начну говорить о польском вопросе, который занимает теперь все умы. Ты ошибаешься, однако ж; я не стану говорить о польском вопросе, во-первых, потому, что он несколько не относится к предмету моей настоящей хроники; во-вторых, потому, что я относительно этого вопроса питаю те же самые чувства, какие в настоящее время красноречиво выражаются всем русским населением

### От холодных финских скал до пламенной Колхиды... –

и, следовательно, если ты хочешь знать мои чувства, то можешь прочесть их в каждом номере петербургских и московских газет; в-третьих, наконец, потому, что польский вопрос специально разрабатывается редакцией «Московских ведомостей», и я, не имея возможности стать выше этой благонамеренной корпорации, взявшей на себя скромную обязанность разговаривать от лица всего русского народа, не желаю, однако ж, по самолюбию, стать ниже ее.

Итак, я о польском вопросе не буду беседовать, потому что претензии мои гораздо скромнее. Претензии эти ограничиваются желанием внушить тебе, читатель, что если ты задумываешь что-нибудь вроде возрождения, то должен обращаться за материалами не к наемным болтунам, которые сначала окатят ливнем пустых речей и кончат все-таки тем, что вытащат из твоего кармана платок, а в то место, где таковые материалы действительно обретаться могут. И с этою целью я возобновил в твоей памяти 1612 год и современную нам крестьянскую реформу.

Часто мы думаем, что этой силы совсем нет, на том только основании, что она редко и сдержанно проявляет себя. Под влиянием этого обмана чувств мы иногда заходим очень далеко, до того далеко, что не признаем никакой истории, кроме внешней, не допускаем никакого прогресса, кроме внешнего. В этом смысле грешат даже такие привилегированные народолюбцы, какими представляют себя, например, славянофилы. Не были ли мы, например, весьма недавно свидетелями сетований «Дня» по поводу гг. Арцимовича, Куприянова и Барановского? Не приходила ли эта газета в отчаяние от того, что эти достойные администраторы были отторгнуты от родных стад, не успев довершить начатого? А ведь «День» откровенно чурается внешней истории, внешнего прогресса, а ведь «День» то и дело взывает, что общество мертво, что оно от чего-то оторвалось!

Конечно, со стороны «Дня» это не более как легкая непоследовательность, потому что, будь он строго логичен, для него было бы совершенно все равно, какие имена носят участники внешней истории и каковы их качества, но когдаобразишь, до какой степени понятие о полнейшей зависимости нашей жизни от чего-то внешнего, случайного сделалось ходячим, до какой степени оно впилося в нас, становится страшно. Невольно спрашиваешь себя: а что, если и в самом деле правда, что справедливость существовала в судах не потому, что ей следует там жить вследствие естественного хода вещей, а потому, что ее насильственно загонял туда NN? А что, если и действительно правда, что крестьянский вопрос мог бы и не быть крестьянским вопросом, если б за сим не наблюдал NN? Согласитесь, что за этими вопросами открывается какая-то мрачная, никем не признаваемая сторона, в силу которой распорядителем судеб целого края является не твердый оплот общественного строя, а колеблющаяся, слепая случайность.

Я признаюсь, однако, что увлечься было возможно и позволительно, потому что все факты внешней жизни постоянно говорили в пользу внешней истории. Конечно, всякому, и не раз, случалось встречаться на своем веку с рассказами об администраторах деятельных и об администраторах не деятельных, об администраторах просвещенных и об администраторах, не обладающих ни замечательными способностями ума, ни значительным запасом познаний. Первые устроят всякие порядки и разливают свет, вторые – устроенные порядки расстроивают и разлитый свет прогоняют посредством исходящей от них тьмы. Допускается даже некоторое невинное хвастовство в этом смысле: один администратор говорит, что у него дороги очень хороши, другой утверждает, что у него дороги не так чтобы очень гладки, зато почтовые лошади в порядке, третий заявляет, что у него все вообще довольно плохо, только вот заведениями приказа общественного призрения он хоть кому угодно нос утрет. И все это оказывалось справедливым, по крайней мере по наглядности, и всем этим мы увлекались и, распевая на все лады дифирамбы внешней истории, совершенно искренно забывали, что пишется где-то другая история, история своеобразная, не связанная с внешней даже механически. Эта история пишется втихомолку и неярко; она не представляет собой сплошного рапорта о благо-

состоянии и преуспевании, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах; содержание ее раскрывается перед нами туго и скорее поражает горьким абсентеизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы; но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в ту пучину безвестности, куда, рано или поздно, должна кануть история внешняя, со всем ее мишурным блеском, со всем театральным громом.

Что эта внутренняя, бытовая история существует – в том опять-таки служит порукой недавняя крестьянская реформа, на которую я уже указывал выше. Известно, что еще очень недавно самая мысль об освобождении крестьян казалась дикою и преследовалась, как угрожающая общественному спокойствию. Казалось бы, что торжество такой мысли, которую все стремилось изгнать не только из жизни, но и из самого народного представления, должно было бы произвести в народе переполох, должно было бы встретить его неприготовленным, однако оказалось совсем напротив. Реформа не только привилась сразу, но сразу же оказалась заключающею в себе зерно дальнейшего развития и усовершенствований. Теперь крепостное право представляется почти в такой же степени отдаленным, как и погром Батыев. И точно такое же явление произойдет и относительно других реформ, по поводу которых мы загодя тужим и соболезуем: не привьются, дескать, они, не привьются к нашему грубому народу.

Поэтому мы, которые думаем, что родник жизни иссяк, что творческая сила ее прекратилась, мы думаем и судим поверхностно. Мы принимаем за жизнь то, что, собственно, заключает в себе лишь призрак жизни, и забываем, что есть жизнь иная, которая одна в силах искупить наше бессилие, которая одна может спасти нас. Это сила не анархическая, а устроительная и потому для всех равно симпатичная. В Смутное время русские города пересылались и списывались между собою, но у какого же историка поднимется рука, чтобы назвать это движение анархическим? Вот к этой-то силе и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была деятельность, но если она ищет себе опору инде, то эта деятельность пройдет мимо, каковы бы ни были ее намерения. Заботьтесь сколько угодно о насаждении правды на земле – эта правда не оценится и не признается; допускайте, с другой стороны, всякую неправду, всякую обиду – это будет явление горькое, но оно вынесется; оно вынесется, как выносятся моровое поветрие. Тут не может быть речи даже о том, что хорошо и что худо: к хорошему бытовая история отнесется точно так же равнодушно, как и к худому.

Итак, не станем приходить в отчаянье, а будем верить. Жизнь не останавливается и не иссякает. Если горьким насильством не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь те честные сердца, которые воспримут семя ее и сторицею возвратят ей посеянное.

Что добрые люди украшают общество и сдобривают жизнь человеческую – это истина, которую еще задолго до г. Львова, автора известной комедии «Свет не без добрых людей», изрекла мудрость народная. Истинно добрый человек добр безразлично; он сыплет благодеяниями направо и налево; он стремится подать помощь даже там, где этой помощи совсем не требуется; он отыскивает страдания даже там, где таковых совсем не обретается. Из этих слов читатель, пожалуй, заключит, что описываемый нами «добрый человек» не столько добрый человек, сколько надоедало, – оно так и есть; но такова уже природа доброго человека, что если вы ему даже в глаза скажете, чтоб он не приставал и не благодетельствовал, он этим не обидится и приставать не перестанет. Он все будет стремиться, все будет подавать руку помощи и отыскивать страдания. И в конце концов добьется-таки своего, то есть того, что вы привыкнете к его приставаниям, что вы станете смотреть на него, как на домашнего человека, и наконец, махнув на все рукой, скажете: да, черт возьми! NN действительно добрый человек!

И поверьте, что заключение ваше отнюдь не будет опрометчиво, потому что и в самом деле без добрых людей невозможно жить на свете. Это только с первого взгляда кажется, будто

они надоедают, но если вы вникнете в дело ближе, если вы взвесите те тысячи мелких, незаметных услуг, которые на каждом шагу оказываются добрыми людьми, то поймете, что только по милости их жизнь ваша устраивается спокойно и не выбивается из колеи неожиданными сюрпризами. Кто уничтожает клопов, тараканов и других насекомых, отравляющих человеческое существование? – добрые люди. Кто изобретает мази для ращения волос? кто исцеляет зубные боли? – добрые люди! Везде и всегда они являются домашними гениями человека, чем-то вроде старого халата, с которым до того свыкаешься, что только в нем и чувствуешь себя удобно и ловко.

В особенности завидную роль играют добрые люди в русском мире. Мы с гордостью можем сказать, что у нашей жизни почти нет других руководящих правил, кроме правил добросердечия. Проигрываете вы, например, какое-нибудь дело – наверное, вы можете сыскать доброго человека, который вам то дело поправит и направит; проигрывает это же самое дело ваш противник – и он, наверное, найдет доброго человека, который то дело поправит. Так оно и идет колесом.

Но само собой разумеется, что всего ощутительнее сказывается существование «добрых людей» для того, кому как-нибудь случится проштрафиться. Уж чего-чего не передумает этот человек: и законы-то все припомнит, и вину-то свою по ниточке переберет... беда! Ан нет, совсем не беда; явится добрый человек и скажет: а простить сему человеку его продерзости! – что ж, и простят!

Поэтому добрыми людьми не только не следует пренебрегать, но, напротив того, надлежит всемерно стараться о их размножении. В сфере ли административной или в сфере литературной, спереди ли, сзади ли, с боков ли – добрые люди нигде не вредны. Если добросердечие их порой надоедливо, если эта надоедливость вызывает в вас нетерпение, – вы можете не стесняться и высказывать ваши чувства без утайки: добрые люди будут только улыбаться да приговаривать: «Эх ты, горячая, горячая голова! куда бы ты без нас поспел!», но добрыми быть не перестанут. Тем-то и хороши и удобны эти люди, что уж очень они незлопамятны.

Признаемся откровенно, до сих пор мы причисляли г. Громеку именно к этому сонму добрых людей, которыми красна человеческая жизнь, и не мало утешались этим. Мы думали: если нас постигнет какое-нибудь несчастье, то мы пожалуемся г. Громеке;<sup>12</sup> а он с своей стороны постарается. До сих пор оно так и было; в прошлом году с нами случился совершенно неожиданный сюрприз, и хотя мы даже не жаловались г. Громеке, но он старался. Мы были так чувствительны к этим стараниям, что даже опасались за здоровье нашего доброжелателя и вследствие того просили его стараться не столь усердно. Скажем более: до сих пор мы склонны были видеть в г. Громеке тайного сторонника «Современника». Мы думали: этот человек хоть и журит нас по временам, но он нас любит. Если он ворчит и брюзжит на нас часто без дела, то это объясняется отчасти его зрелыми годами, отчасти страстным желанием быть нам полезным. Но он все-таки не станет добиваться нашей гибели, уже по той простой причине, что если мы погибнем, то ему некого будет ни увещевать, ни усовещивать.

Тем прискорбнее нам было увидеть из «Современной хроники России», помещенной в 3 № «Отечественных записок» за сей год, что г. Громека совсем не такой добрый, каким мы себе представляли его. Мы думали, что к нему можно было обращаться со всею откровенностью, что ему можно верить и радость и горе, что он выслушает, сначала, конечно, побранит, а под конец все-таки утешит... Оказывается, что он совсем напротив: выслушать-то выслушает, да тут же и приметит, и не только не утешит человека в горести, но наипаче потщится таковую отравить.

---

<sup>12</sup> Мы считаем возможным назвать г. Громеку, потому что он неоднократно был печатно объявляем как редактор «Современной хроники России», о которой теперь и идет речь. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Полные мысли о добром к нам расположении г. Громеки, мы радостно принялись за чтение мартовской «Современной хроники России». Да и как было не радоваться! Один перечень содержания, так сказать, захватывает дыхание. Чего-чего тут нет: и усобица в литературе, и обвинение общества в том, что оно само ставит препятствия к развитию нашей политической печати (?), и нечто об отрицательном направлении, и нечто о ложном либерализме... Но, само собою разумеется, что для нас была всего приятнее следующая фраза перечня: «Как относятся к правительству истинно независимые люди и журналы, такие, например, как г. Унковский и редакция „Современника“». Шутка сказать – «независимый журнал»! – Какая может быть похвала выше этой! И в чем же независимый – в отношениях к правительству! Да ведь тут голова закружится от восторга! Ведь это почти что одобренный цензурою грубиян! Согласитесь, что такая похвала сразит хоть кого.

Тем не менее мы должны сознаться, что все эти розы скрывали за собой змия, не столько ужасного по впечатлению, им на нас произведенному, сколько по ядовитым своим намерениям, и что если в конце концов г. Громека не накормил нас горчицею, то это произошло совсем не оттого, что он этого не хотел, но оттого, что вообще кормить своего ближнего чем бы то ни было, если сей последний того не желает, дело довольно мудреное.

Мы сказали выше, что г. Громека обвиняет общество и литературу в недостатке энергического стремления к свободе мысли. На чем он основывает свои обвинения – формулировать довольно трудно; по-видимому, однако, все дело сводится на недостаток в обществе элементов сочувствия и восторженности. Но мы не ставим г. Громеке в вину, что это запутанное дело им не разъясняется, потому что очень хорошо понимаем, что подобные разъяснения не всегда возможны; однако нам казалось бы, что при такой невозможности определительно высказать действительные причины общественной апатии всего прямее было бы молчать об них, а не подыскивать причины второстепенные, и притом едва ли не фальшивые. Общество молчит, литература погрязает в личных дрязгах и мелочах – все это, быть может, и правда, но где же причина такого явления? Потому ли молчит общество, что оно молчит, потому ли погрязает в мелочах литература, что она погрязает в них? Мы думаем, что это не совсем так, хотя г. Громека и стремится уверить нас, что это именно так, как он объясняет.

Г-н Громека начинает издаека – с польских дел. Он огорчается тем, что русские журналы, за исключением «Русского вестника» и «Московских ведомостей», относятся к этому вопросу молчаливо; он говорит, что если бы журналы наши имели возможность высказываться, то, по всей вероятности, мнения их не представили бы существенной разницы с мнениями «Русского вестника». Размышления, которые делает по сему предмету г. Громека, могут служить образцом невредных размышлений о различных случайно встречающихся по пути предметах, размышлений, которых первообраз дал нам бессмертный Гоголь в лице Кифы Мокиевича. В самом деле, странное дело: литература молчит, общество не выработало себе никакой самостоятельности, а какой-нибудь в скорбях зародившийся «Русский вестник» разглагольствует, а какие-нибудь сиккофантством повитые «Московские ведомости» надрываются, и хоть от этой натуги распространяется по России не совсем хороший аромат, однако аромат как будто самостоятельный, или, по крайней мере, прикидывающийся таковым! Что за чудо! Да разве «Русский вестник» и «Московские ведомости» не принадлежат к русской литературе? Нет, принадлежат, ибо печатаются на русском языке и издаются с одобрения цензуры. А если принадлежат, то, стало быть, не вся же литература безмолвствует, не вся же она лишена самостоятельности, но есть два органа (неизвестно почему г. Громека не прибавил к ним еще двух-трех, которые действуют, по малой мере, столь же самостоятельно), которые завоевали себе право разглагольствования и собственными средствами приобрели для себя несокрушимую позицию. Почему же, спрашивается, прочие литературные органы не следуют их примеру? Вот этого-то г. Громека и не объясняет. Мы, с своей стороны, думаем, что это происходит просто оттого, что не всё же вдруг; потерпите, г. Громека! ведь подобная самостоятельность не всеми

приобретается одинаково легко!.. Но, быть может, наш публицист хотел сказать, что самостоятельность «Русского вестника» и «Московских ведомостей» не есть настоящая самостоятельность, – но тогда какая же надобность подражать ей? А быть может, он хотел сказать, что эта-то самостоятельность и есть истинная, то почему же он сам не подражает ей или подражает только отчасти? Мы очень хорошо понимаем то чувство, которое заставляет вас говорить, что безмолвие русской литературы есть вещь очень прискорбная, но покажите же пример, г. Громека, покажите пример! Мы посмотрим, надлежит ли следовать вашему примеру, а покамест еще ничего заслуживающего подражания в ваших полусловах и полунамеках для себя не видим.

Переходя от одного случайного предмета к другому, или, лучше сказать, перелетая с одного цветка на другой, г. Громека с удовольствием отдыхает на том недавнем времени (по летосчислению публициста, года четыре тому назад), когда «каждый спешил, не разбирая звания (в смысле литературных партий), подсобить дружескому натиску общественного мнения». Мы, с своей стороны, тоже отдыхаем на этом времени, и если не удивляемся и не скорбим по поводу его недолговечности, то потому только, что в глазах наших эта недолговечность есть факт совершившийся и, следовательно, имеющий свои законные причины. Если было время, когда каждый спешил, – стало быть, была надобность спешить; если это время скоро прошло, – стало быть, или надобность была только кажущаяся, или же спешить больше некуда. О чем тут скорбеть? о чем беседовать?

Г-н Громека находит более удобным объяснить эту скоротечность посредством «бомбы отрицания». По свидетельству его, четыре года назад кто-то кого-то атаковал, и вдруг, в самый разгар горячего дела, «посреди атакующих и атакованных, со свистом и шумом, упала бомба отрицания». В противоположность всякого рода другим бомбам, бьющим и разрушающим без размышлений, эта бомба начинена известною «философией». Как и всё на свете, эта «философия» имеет свою хорошую и свою дурную сторону; хорошая сторона заключается в том, что она «многих заставила подвергнуть операционному ножу критики все свое внутреннее содержание», вследствие чего «иные не выдержали операции и сданы в архив, другие вышли с надломленными и раздраженными силами, остальные окрепли, закалились и снова готовы в честный бой»; дурная сторона заключается в том, что бомба отрицания внесла междуосбие в ряды осаждающих и что, воспользовавшись этим, «осажденные возводили укрепление за укреплением». Все это написано очень хорошим слогом, и со всем этим можно было бы даже согласиться, если б начертанная г. Громекою картина не была выдумана им из головы и не представляла собой опыта невинного порхания по цветам красноречия. Во-первых, г. Громека упускает из вида, что так называемые «осажденные» совсем не были до такой степени беззащитны, как он их изображает, что им даже не было надобности «возводить укрепление за укреплением», потому что сии укрепления были у них всегда налицо. Во-вторых, красноречивый публицист совершенно произвольно представляет это дело в виде осады: никакой осады тут не было. Представление об осаде предполагает две враждующие стороны: одну – слабую, которая в крайности решается запереться в крепости и терпеть все ужасы лишений (вот видите ли, и мы умеем быть в свое время красноречивыми!), и другую – сильную, которая уже довела своего врага до последнего убежища, оцепила его со всех сторон и затем со дня на день ожидает окончательного его уничтожения. Но никто из взирающих без увлечений на дело, о котором идет речь, конечно, не станет отрицать, что оно происходило совершенно наоборот и что вообще объяснять подобные явления посредством военных эволюций – задача мудреная, невозможная, именно потому невозможная, что если при помощи таких уподоблений многое объясняется, то, взамен того, многое и затемняется. Что, если, например, мы, следуя по стопам г. Громеки, скажем, что в этом деле совсем не было ни осажденных, ни осаждающих, а были только дозволяющие и дерзающие? Ведь как хотите, а наше уподобление тоже может кое-что объяснить, тем более объяснить, что в примере г. Громеки многое представляется почти непостижимым. С какой стати сила изображается слабостью? По какому поводу сила позво-

ляет осаждать себя? Для того, что ли, чтоб иметь удовольствие сказать самой себе: посмотрю, дескать, я, как эти лилипуты будут надрываться и выходить из себя? Нет, воля ваша, а тут есть что-то неверное, и неверность эта именно оттого и происходит, что г. Громека, вместо того чтобы сказать прямо: «после Крымской кампании, когда» и т. д., предпочел прибегнуть к цветам красноречия. Если б он не обратился к этому милому способу писания истории, то непременно пришел бы к заключению, что всякое жизненное явление имеет свою внутреннюю неумолимую логику, которая не может заставить его высказаться иначе, чем так, как оно высказывается по естественному своему ходу. В-третьих, наконец, что ж это, в самом деле, за бомба такая, которая все своих да своих бьет, которая, сама по себе «предохраняя от застоя, напрягая силы, освобождая от негодных к дальнейшему употреблению материалов», все-таки способствует лишь тому, что враждебная сила возводит укрепление за укреплением? Воля ваша, а тут или бессмыслица, или совершенное непонимание дела, о котором вы взялись говорить.

В сущности, дело происходило гораздо проще. Направление, которое, на живописном вашем языке, вы называете «бомбой отрицания», приходило вовсе не во имя одного отрицания, но имело в виду достижение результатов весьма положительных. Понятие, что это направление есть сила оплевательная, осмеятельная и разрушительная, ведь такое понятие могут, не краснея, распускать только московские публицисты, во-первых, потому, что оно предоставляет этим простодушным людям случай высказывать самостоятельную преданность, а во-вторых, потому, что они, играя на эту тему, имеют превосходный повод выражать во всеуслышание преданную самостоятельность. Но ведь вы не московский публицист, г. Громека (да, мы охотно признаем за вами это бомбо-отрицательное качество), и вам не может быть неизвестно, что все эти обвинения в отрицании для отрицания не более как слова, слова и слова. Вы это знаете точно так же, как и то, что все эти игры в осажденных и осаждающих, которым вы придаете такой вес, не более как игры примерные, кончающиеся просто ударом звонка, возвещающего, что рекреация кончилась и что пора идти в класс. Ежели бы это было иначе, неужели же тут могли бы иметь такую решительную силу какие-то «бомбы отрицания»? Если б та жизнь, о которой вы вспоминаете со вздохами, не скользила по поверхности дела, а порывалась в самую глубь его, если б она убивалась не над фестончиками и мелочами, а над самою сущностью, какой смысл имело бы отрицание, да и кто бы соблазнился им? Вспомните бывшие в сороковых годах толки о художественности, под покровом которых тогдашнее поколение стремилось провести неясную мысль о чем-то другом, – чем кончились эти толки, что произвели они? Они произвели гг. Каткова, Леонтьева и Павлова, они кончились тем, что явились люди, которые нашли для себя полезным оставить покров и эскамотировать его содержание. Отчего такой обидный результат? А оттого и обидный, что во всех этих толках не было настоящего дела, что это последнее прицеплялось к толкам случайно и даже затемнялось ими. Но в этих толках, как они ни были запутанны, все-таки было больше содержания и дельности, нежели в той незабвенной болтовне о чиновничьих злоупотреблениях и разных сближениях, о которых вы вздыхаете. По какому же поводу вы называете бесплодным то направление, которое, насколько могло, уяснило истинный смысл этой болтовни, которое, среди общей ребяческой траты сил, смело выразило мысль, что человеческие силы должны быть употребляемы более производительным образом? Нет, вы или не поняли того, что называете «бомбой отрицания», или умышленно искажаете смысл этого явления.

Мы, собственно, желали бы, чтоб г. Громека «не понял»; но, к сожалению, некоторые признаки заставляют думать, что он именно умышленно исказил смысл явления, почему-то ему несимпатичного. Однажды став на эту точку, он пошел очень далеко в деле искажений и, быть может, незаметно для себя самого, дошел до намеков весьма неполезных.

Самый ловкий способ набросить тень сомнения на своего литературного или политического противника заключается в том, чтобы отыскать в его убеждениях или образе действия противоречия. Какой характер и где источник этих противоречий, об этом благоразумно умал-

чивается, потому что если бы не умолчать об этом, то пришлось бы изменить самый характер полемики, сделать ее не столько «ловкою», сколько «правдивою». Но, при известных полемических целях, правдивость, очевидно, не идет к делу; тут нужна ловкость, и только ловкость, потому что она одна удовлетворяет цели.

Г-н Громека, столько раз за нас заступавшийся помимо нашего желания, счел долгом вновь заступиться в последней мартовской книжке «Отечественных записок». Хотя это заступничество начинает несколько прискучивать, однако уж если у г. Громеки такое доброе сердце, если он без слез ни о чем говорить не может, то отчего же ему и не удовлетворить этой невинной затее? На этот раз заступничество написано на мотив, что хотя «Современник» и независимый журнал, но и он отдает справедливость правительству. На этом покамест мы и остановимся.

Прежде всего представляется вопрос, до какой степени позволительно ставить дело на такую почву, как сочувствие или несочувствие к правительству. Какие данные могут дать право рассуждать об этом? И возможно ли предположить, чтобы «Современник» или всякий другой журнал не питал сочувствия к правительству не только в тех случаях, когда это последнее следует разумным путем прогресса, но даже в таком случае, если б оно и не предпринимало никаких реформ и упрямо стояло на той бомбо-отрицательной позиции, о которой с таким одушевлением проповедует красноречивый, но неосновательный публицист? Г-н Громека поймет всю важность этих вопросов и, конечно, не сочтет излишним разрешить их, потому что, в противном случае, его похвалы «Современнику» могут быть приняты за инсинуацию.

А что, впредь до разъяснения, эти похвалы положительно имеют характер инсинуации, – это доказывается всеми рассуждениями, которые непосредственно следуют за похвалами. Извольте видеть, дело идет о том, что, несмотря на общее сочувствие всех журналов правительству (в том числе и «Современника»), выскиваются, однако же, изверги, которые льстят молодому поколению, внушают ему понятие о недостаточности слова и необходимости дела, что молодежь от этого дуреет, забирается в непроходимые дебри и, не имея ни проводника, ни компаса, гибнет. Кто ж эти изверги?

Ответ на этот вопрос явствует из заключительных слов этой диковинной диатрибы. Вот они:

Итак, молодежь жертвует собой, честно выполняет долг самопожертвования, как до сих пор его понимала. Ну, а мы, журнальные либералы и прогрессисты всех оттенков, честно ли мы поступаем, что не хотим пожертвовать своим мелочным самолюбием для спасения молодых сил, бесплодно гибнущих пред нашими глазами? Честно ли будет вводить молодежь в дальнейшее заблуждение насчет нашего взгляда на дело и продолжать по-прежнему играть в полуслова и загадки да забавляться тем, кто кого перегонит в горелки либерализма? Честно ли нам, журналистам, единогласно убежденным, что для удовлетворения нашей жадности к делу «достаточно было бы и половины начатых правительством реформ», – честно ли нам допускать молодежь одиноко умирать от этой жадности и не сказать, где можно утолить ее? Молодежь не боится идти в рудники, а мы боимся сказать ей правду; молодежь жертвует свободой и жизнью, а мы не хотим пожертвовать для нее репутацией передовых публицистов... О, как легко говорить и писать о самопожертвовании и как трудно выполнять самому написанное! Сколько мы толковали о том, что «слово» не есть еще «дело»; но вот теперь события настойчиво требуют от нас дела – самого простого дела, а мы стоим в нерешимости и с досады перебраниваемся друг с другом... Вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер, а мы потчует их подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать. Пред нашими глазами юноши, полные жизни, сотнями плетутся по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири, – а мы, спокойно покушав у Палкина, утешаем свою совесть тем, что эти жертвы – неизбежное явление во время поднимающейся волны событий. Для всех нас очевидно, что всякое дальнейшее недоразумение только пуще обессилит нас, что пора положить ему конец, а мы продолжаем тянуть старую песню о нигилистах и постепеновцах, о том, кто

из них честнее и передовее. О, великие светила нашей публицистики! О, прославленные либералы и прогрессисты, постепеновцы и нигилисты, если вы, в самом деле, так честны и пылаете самопожертвованием, то покажите же нам вашу честность и ваше самопожертвование! Если вы действительно любите свободу больше себя и своей мишурной славы, то перестаньте, с одной стороны, раздражать юношество ругательством, а с другой, сбивать его с толку похвалами; если для вас ничего не значат слезы и отчаяние отцов и матерей, которые, в качестве представителей отживающего поколения, конечно, не заслуживают вашего участия, то, по крайней мере, подумайте о том, какое слово благодарности скажет вам грядущее поколение, когда оно узнает, как бесплодно гибли в ваших глазах лучшие силы общества, как постепенно ослабевала от того общая энергия и как много страдало от этого дело свободы, вверенное историческими судьбами вашему попечению. Если вы хотите участвовать в ходе политических событий, хотите действовать, то выходите на практическую дорогу и помните, что политика имеет дело только с действительностью и почерпает силу только в наличных средствах и обстоятельствах. Если же хотите оставаться исключительно органами журнальных кружков, то догнивайте себе покойно в вашем омуте личных дряг и не претендуйте на звание передовых людей...

Читая эти строки, не веришь глазам, не знаешь, чему более удивляться: любвеобильности ли г-на Громеки или той ловкости, с которой он владеет своим оружием. Думаем, однако ж, что здесь более ловкости, нежели любвеобильности. Это бывает. Люди слезливые вообще раздражительны; они любят благодетельствовать, но любят также, чтоб их благодетельства принимались безотговорочно и с благодарностью. Если это последнее условие не выполняется, они столь же внезапно обуреваются ненавистью, сколь внезапно, за несколько минут перед тем, обуревались любвеобильностью. Для нас эти переходы понятны, потому что мы знаем, что здесь идет дело совсем не об том, чтоб оказать услугу ближнему, а о том, чтоб испоместить свою собственную чувствительность, чтобы налюбоваться всласть самим собою и потихоньку самому себе сказать: «Эх! да какой же я, в самом деле, распрекрасный человек!» Но если уже человек однажды составил о себе такое варварское понятие, то можно ли допустить, чтоб он не возненавидел всеми силами любящей души людей, которые препятствуют ему наслаждаться самим собою, которые уклоняются от его благодетельств, во-первых, потому, что не видят в них никакой для себя привлекательности, и, во-вторых, потому, что очень хорошо понимают их источник? Нет, нельзя, потому что в этом случае уязвляется все, что питало и украшало человеческую жизнь, потому что тут уничтожается то, что составляло содержание этой жизни, которая таким образом и приводится к нулю. Подобно этим слезливым людям, г. Громека должен ощущать глубокое недоброе отношение к «Современнику», которое он тщетно скрывает под видом доброжелательства. В самом деле, сколько он раз протягивал руку – а эта рука так-таки и оставалась повисшею в воздухе! Сколько раз он начинал соболезновать и ходатайствовать – и все эти соболезнования и ходатайства так-таки и не дошли по адресу, то есть по тому адресу, по которому мысленно г. Громека писал свои чувствительные послания! Это обидно. Что вся эта диатриба направлена именно против «Современника», это доказывается, во-первых, ссылкой на слова, сказанные в нашем журнале, во-вторых, тем, что во всех этих разглагольствованиях повторяются те же тусклые понятия, которые многие благожелатели постоянно высказывали о направлении «Современника». Самое худшее в этом то, что г. Громека не называет нас прямо, а действует, так сказать, под рукою. Быть может, он соблазняется примерами прошлогодней тактики и блестящими результатами, ею добытыми? Быть может, он хочет только пустить в ход мысль, дальнейшее развитие которой предоставляет другим?

Мы охотно избавляем г. Громеку от тяжелой роли секретно наблюдающего за нашим журналом публициста и предоставляем ему наблюдать открыто. Мы принимаем его вызов и с удовольствием готовы отвечать на его обвинения, но для этого было бы желательно, чтоб он формулировал их определительнее. Мы не сомневаемся, что наше положение, как ответчиков, не изъято будет некоторой затруднительности, но утешаемся тою мыслью, что положение, в кото-

рое поставил себя добровольно сам г. Громека, будет еще затруднительнее. Это просто, не приведи бог, какое положение!

Итак, мы просим г. Громеку объяснить не стесняясь:

1) Кого он разумеет под теми «журнальными либералами и прогрессистами», которые «потчуют подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать, в то время как вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер»? Да и в чем именно, то есть в каких статьях он заметил столь пагубное направление?

2) Кто сбивает юношество с толку похвалами «и посылает его сотнями по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири»? В каких именно статьях «журнальных либералов и прогрессистов» заметил он такой яд?

Если г. Громека укажет на факты, это будет, конечно, великая заслуга в глазах всех благомыслящих людей, но если он не укажет? должно ли будет принять его молчание в смысле действительной невозможности сделать просимые указания или же опять в смысле снисходительности и доброжелательства к нам?

А вы вольным духом! не робейте!

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергичном, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Фонвизину и Гоголю, – остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, – и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей; действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое, стройное мирозерцание, не имевшее, с внутренней стороны, строго человеческого характера, но наружными своими признаками не дозволявшее, однако же, сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут в очию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыба голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну – искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что, кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем бы излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь известно, у нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйста!); он заговаривает со своим *vis à vis*<sup>13</sup> и все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», – говорит вся его съезжившаяся фигура.

– *Vous êtes russe, monsieur?*<sup>14</sup> – спрашивают его.

---

<sup>13</sup> соседом.

<sup>14</sup> Вы русский, сударь?

– Oui-с; да-с, – бормочет сконфуженный россиянин. – Ne désirez vous pas du champagne?<sup>15</sup>

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия – страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества и проч. и проч. И откуда что полезет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность, – никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий ради бездельничества россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

---

<sup>15</sup> Не желаете ли шампанского?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.